

18+

Н А Р О Д Н Ы Й Ж У Р Н А Л

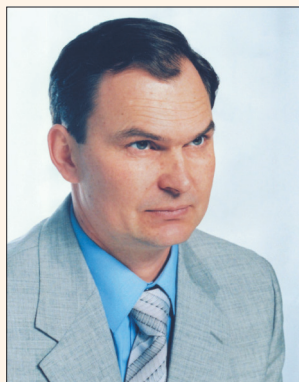


РОМАН №4 2017 ГАЗЕТА

Белый ангел / Современный российский рассказ

90
лет





БЕЛОЗЁРОВ Андрей Борисович

Прозаик, родился в 1966 г. в г. Бендеры Молдавской ССР. Окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А. М. Горького.

Проза публиковалась в периодических изданиях: «Кодры. Молдова литературная», «Московский вестник», «Литературная Россия», «Наш современник», «Дружба народов», «Новый журнал» (Нью-Йорк) и др.

Лауреат литературного конкурса «Древний город на Днестре» к 600-летию г. Бендеры. Лауреат Государственного литературного конкурса «Родное Приднестровье» к 20-летию образования ПМР.

Член Союза Писателей Приднестровья с 1996 года.

Живет в Бендерах, Приднестровье.



ЛЕЙДИНА Маргарита Алексеевна

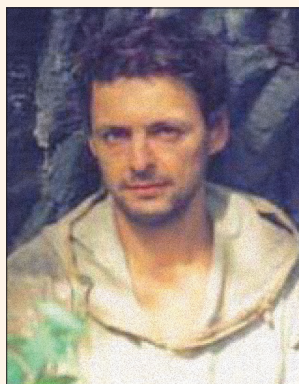
Родилась в Уфе.

В 1982 году закончила Уфимский Нефтяной институт, специальность — архитектура. В 1996 году переехала в Москву. В 2004 закончила Институт журналистики и литературного творчества, специальность — проблемно-тематическая литература.

В институте посещала мастер классы драматурга Л. Г. Зорина, критика Л. А. Анненского, писателей Б. Т. Евсеева, А. А. Кима, Л. Е. Бежина, В. Т. Бабенко, Л. В. Костюкова и др.

Печаталась в журналах «Новая Юность», «Современная драматургия», «Остров», «Бельские просторы», в литературном альманахе «Продолжение» как литератор.

В 2011 году в издательстве «Вече» вышла книга «Сотворение добра».



ЕФРЕМОВ Дмитрий Глебович

Родился в 1962 году в г. Вяземский Хабаровского края. Армейскую службу проходил на Чукотке в строительных войсках. После службы поступил в Хабаровский педагогический институт. С 1988 года работал учителем рисования и черчения, сначала в шахтёрском поселке Горный, на севере Хабаровского края, затем в казачьем селе Столбовое, что на границе с Китаем. В 1995 году переехал в Подмосковье, тогда же увлёкся литературным творчеством и живописью.

Несколько своих книг посвятил Дальнему Востоку. Сотрудничает с литературным издательством «Белые Альвы», где были изданы его книги: «Меч, рассекающий листья», «Праздник для души», «Древнейшая цивилизация офеней» и «Амурские казаки». Лауреат Губернаторской премии «Историческое наследие» (2016).

Живет в Дубне.



УНТИЛА Александр Павлович

Родился в 1979 году в пос. Южный Калининградской области в семье военнослужащего. Окончил Рязанский военный автомобильный институт (2001).

Проходил военную службу в войсках спецназа. Принимал участие в контртеррористических операциях в Северо-Кавказском регионе. С апреля 2007 — спасатель отряда «Центроспас» МЧС.



НАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ РОМАН-ГАЗЕТА

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «РОМАН-ГАЗЕТА»

ЖУРНАЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В КОМИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПЕЧАТИ. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ №013639 от 31 МАЯ 1995 г.

Учредитель и издатель
ООО «Роман-газета»

Главный редактор
Юрий Козлов

**Редакционная
коллегия:**

Дмитрий Белюкин
Юрий Бондарев
Семен Борзунов
Алексей Варламов
Анатолий Заболоцкий
Юрий Коннов
Владимир Личутин
Юрий Поляков

**Ответственный
редактор**
Елена Русакова

В оформлении
использованы картины
И. Шишкина

Права
на использование
товарного знака
«Роман-газета»
принадлежат
ООО «Роман-газета»
© ООО «Роман-газета», 2017
Все права защищены
Подписаться
на журнал «Роман-газета»
можно в отделениях связи
и через Интернет:
www.gazety.ru

**Подписные
индексы издания:**

в каталоге агентства
«Роспечать»

70782 на полугодие,
71752 на год;

в объединенном
каталоге

«Пресса России»
38915 на полугодие;

в электронном каталоге
«Почта России»
П1526 на полугодие

Точка зрения автора может
не совпадать с позицией
редакции

2017 №4 /1776/ Основана в 1927 г.

Белый ангел

Андрей Белозёров

МОЛОДОСТЬ. ЛЮБОВЬ. ВОЙНА

Этим летом ему исполнилось двадцать семь. Самый возраст для поэта, чтобы умереть и остаться навеки молодым и гениальным...

«Молодость. Любовь. Война» — такая троесловица вертелась в голове поэта Кости Курбатова, когда летом девяносто второго над городом на Днестре завораживающе замаячил призрак победоносной локальной войны.

Войну в Бендерах ждали, некоторым даже казалось, что на войне умирать нужно весело и влюбленно, без боли и страдания, не по-обывательски, экзальтированно. Одурманенные идеями свободы парубки в кожаном прикиде, спесь которых удовлетворялась попаданием в милицию или штрафом за изгвазданные стены, ждали от войны игрища, действия и бесконечной вольницы.

В ту же сторону глядел умозрительно и поэт Костя Курбатов («Молодость. Любовь. Война»), пока не взорвалось...

Когда в двух шагах от Курбатова на тротуаре внезапно бабахала изготовленная в Китае петарда, громкая и раскатистая, для пушечного эффекта положенная сорванцами в жестянку из-под пепси, то Курбатов суетливо прятал голову в плечи, увертывался от возможных осколков. Казалось, и на войне, где рвутся снаряды и посвистом окаянным свистит со всех сторон, нужно только вовремя поворачиваться, уворачиваться, доворачиваться, и все будет «тип-топ», как в кино: слаженно, сглаженно и даже задорно.

Но лишь разорвался среди мирной улицы первый настоящий пушечный снаряд, все вдруг стало в тысячи раз оглушительнее и подлее, злее и невразумительнее, чем в самом страшном кино или возле банки с петардой.

Потом еще один снаряд бабахнул. Еще один. Казалась, вся улица взвыла, застонала, объялась гарью и пылью. А уличная толпа у магазина и на остановке забесновалась, кинулась врассыпную, — вдоль улицы и в подворотни. Снаряды рвались и рвались, методично и убийственно.

Курбатов бежал по улице рядом с толстой увалистой теткой, обогнал ее, обогнал и старого-старого старика, который, казалось, мог бы и не бежать никуда... Курба-

тов догнал парня и девушку, они держали друг друга за руки, они вдвоем убегали от обстрела, от смерти, от войны... Парень черноволосый, с бледным лицом, с заострившимся носом, с голубыми глазами, которые испуганно взглянули на Курбатова, а лица девушки Курбатов не видел: она худенькая, волосы светлые, колышутся на ветру от умопомрачительно-го бега.

«От топота копыт пыль по полю летит... от топота копыт пыль по полю... от топота копыт...» — бестолково билась в голове Курбатова невесть откуда залежавшая поэтическая строка. Только не в вольной степи и не из-под копыт доброго коня ширился пылевой столб, — вдруг грохот опалил всё существо Кости Курбатова, и асфальт среди улицы подняло вверх. Взрыв был безумной силы, он враз оглушил и сделал немым Курбатова, у него в мозгу застыл взявшийся из сумбура мыслей афоризм: «Когда грохочут пушки, музы... молчат, музы мертвы...» Курбатов не столько отчетливо видел, сколько угадывал, как умирали эти двое: парень и девушка, которые держали друг друга за руки, убегая от войны. Они ведь закрыли его, Костю Курбатова, спасли от разрыва, потому что ближе оказались к зловещей петарде...

Парню осколком перебило горло, и кровь сразу потоком вылилась из него... А девушку взрывной волной оторвало от парня, снесло в сторону, словно снопок соломы, прибило к бордюру, изрешеченную осколками и окровавленную.

Курбатов безумно кинулся бежать в обратную сторону. Вскоре он перешагнул через толстую тетку, которая лежала без движения, но и без видимых ран, — жива она была или нет, он не знал, не понял. Курбатов сам не понимал, жив он или уже нет, и только что-то остатное, предсмертное движется в нем. А старого-старого старика нигде не было видно.

Откуда-то сверху застрочил пулемет. Ему ответили короткие автоматные очереди. Глухо ухнула впереди за углом граната, где-то опять разбились стекла, и осколки стекла звонко сыпались на мостовую.

Он не помнил, как очутился на этом чердаке. Он не помнил, зачем, для кого написал краской эту красивую троесловицу, словно хотел навсегда избавиться от нее, не вспоминать... «Молодость. Любовь. Война». И откуда здесь на чердаке, где в углу лежал старый полосатый матрас, взялась банка красной краски и полусохшая кисть и почти чистая кирпичная стена, на которой он написал эти три слова?!

* * *

- Давай, давай, заходи слева...
- А ты давай справа! Слышишь?!
- Осторожно: они сверху!
- Вон он, падла, засел на крыше!..
- Прикрой меня. Я его урюю!..
- Блин, он меня задел!.. Больно-то как!!!

— Слава Богу, навылет!..

— Не высовывайся: а то, как Серегу — на куски очередью!..

— Ха-ха-ха-ха, — бросай гранату!

Казалось, кричали все со всех сторон... И только на одном языке — на русском. И хотя многие голоса с акцентом, но к нему привыкли на приднестровской земле все: русские, украинцы, молдаване, болгары, евреи, немцы, поляки, гагаузы, — все в русской языковой плоскости, — все: и миролюбивые трусливые граждане, и вояки, и террористы, которые тоже не хотели распадаться на части от взрыва гранат и автоматных очередей, несмотря на чертовское обаяние подвернувшегося героизма.

...На первые митинги и демонстрации в Бендерах выходили рьяно, задорно квасили носы активистам (те — этим, а эти — тем), на рельсы садились, рискуя располосоваться под стальными колесами адской машины, запущенной новой «постсоветской» государственностью: национальная независимость, с одной стороны, сепаратизм, или та же, только усеченная, национальная независимость, — с другой.

И вот оно, началось. Не по-детски.

Бухают солдатские башмаки со звонкими подбивками; то ли «наши» наступают, стало быть, «румыны» отступают, — то ли наши отступают, стало быть, те наступают. Обмундирование, камуфляжи и обувка военная без отличительных знаков — сразу и не разобрать: кто есть кто на поле битвы — посреди мирного города. И трескотня, трескотня, трескотня выстрелов из «калашей» в перерыве между разрывающими пушечных снарядов и мин.

Наконец враги-полицаи, усаые «румыны» в хаки, поместили себя белыми лентами чуть повыше локтя — отличительными знаками для своих. И еще азартнее стали строчить из ручных пулеметов и автоматов: влево и вправо, вверх и вниз, выкрикивая по-русски, с сильным акцентом:

— Заходы слева!

— Чердак провер!

...Приказано осмотреть чердак соседнего дома, где засел то ли снайпер, то ли диверсант, оторвавшийся от «своих» и палящий сдуру по всем без разбору. (Были и такие специалисты, что стреляли и в тех, и в этих; сеяли панику, неразбериху.) Их выкуривали по чердакам, героев-одиночек, и из-за них гибли мирные жители, бегущие с детьми и тощими узелками укрыться от всего и вся.

И вдруг опять взрыв, и потом вой — то ли женщины, то ли мужчины, а может, их сыночка или дочки, или старика родителя:

— Убили! Убили!!

Вой, в общем-то, не мужской и не женский — не человеческий вообще, — скорбный вопль ангела, сошедшего с ума...

* * *

Всю ночь напропалую Бендеры были объаты огнем, а к утру все стихало. Выставив караулы, противоборствующие стороны готовились на всю катушку отдохнуть, чтобы ввечеру опять начать доказывать свою правду — азартно лупить друг по другу через весь город (не беда: недолет, перелет... а на месте хаты, где под полом пряталось мирное семейство, — озеро, — не беда...): минами, гранатами, пулеметными и автоматными очередями и конечно же снайперскими выстрелами не брезговать. Снайперы особенно старались.

Одинокая пуля — подлый инструмент убийства; даже у Лимонова, опереточного предводителя революционеров (ах, проклятые стихи, они все равно, при любом случае, даже в болезненном полубреду, лезли в голову поэта Кости Курбатова), — есть стихи про пулю, «тихую и злую», которая не предаст ни при каких обстоятельствах. (Лимонов, кстати, тоже удостоил явлением своей особы опаленные войной Бендеры: с автоматом наперевес красовался в фото-и телеобъективы — только с разницей во времени значительной, когда основной напор пролитой крови уж схлынул, когда туманно и муторно тянулось время по обе стороны баррикад, — в беспробудном мареве анашисто-водочном, — в ожидании третьей силы, катастрофически запаздывающих миротворцев российских.)

Так вот, отдыхали после страшной ночи весело — и полицаи румынские, и гвардейцы приднестровские — без претензий друг к другу, и не без фантазии, учитывая почти джентльменский уровень договорённостей. На одном пятачке нейтральном высилось почти невредимо (рука не подымалась направить ствол «калаша», не то что «мухи») здание республиканского пивзавода, выпускающего качественный напиток. Вот ведь, все в округе корпуса производственные побиты, вывернуты наизнанку, со снесенными кровлями и черными подпалинами, напшигиваны пулями всевозможных калибров, а это стоит себе хоть бы что.

Бойцы в шортах — в обрезанных по колено хаки из-за редкостной тем летом жары, в засаленных тельняшках, а то и с запросто оголенными пузами — посещали хранилища с чанами, — по строжайшему сговору не вести в эту пору пальбу; и даже, бывало, фляжку-другую разопьют вместе, вспоминая годы доперестроечной жизни; кое-кто из вояк так и учился с кем-то из нынешних врагов в кишиневских или тираспольских училищах или техникумах. Бывало, и родственники пересекутся на пивзаводе... как в прежние времена — одни «красные», другие «белые».

В сумерках же начиналась опять свистопляска, светопреставление. Ночью все давали волю «трезвым» чувствам, припав к гашеткам. И одна, и другая сторона — в июньскую душную ночь. «...Жара, жара;

жареное солнце больших городов!» — надрывался динамик и на одной, и на другой стороне; слушали одну и ту же волну, должно быть, выдерживая в себе «русский дискурс»...

Но кто из тех воюющих понимал свою стратегическую задачу, и была ли она вообще? А может быть, в региональной войне главное — создать эффект бойни, привлечь внимание общественности, привлечь ценой чьих-то жизней?

И вот опять в ночи стонут и ухают батареи, сотрясают молдавско-приднестровскую землю, собирая с нее жертвы. (Основные жертвы были в первый день войны, полегло до нескольких сот, потом под огнем оказывались пьяные неувертыши, случайные несчастливцы...)

С наступлением рассвета полковые чины с обеих сторон командовали: «Отбой!»

* * *

На чердаке Костя Курбатов перевязал себе ногу. Его слегка царапнуло. Он и не почувствовал этого в первый момент после взрыва. Но главное — его ранили не в тело, а куда-то глубже. Может быть, в душу? «Раненая душа» — красиво и поэтично. И конечно, глупо, все глупо, когда война и убивают невинных парня и девушку.

Даже не из-за страха, а от отупения, от растерянности и подавленности, от... — Костя Курбатов боялся и не хотел этого признавать, — от возможной контузии он провел больше суток на этом пахнущем голубиным пометом и кошачьим дерьмом чердаке, на засаленном матрасе в углу, под наклонной деревянной балкой, напротив стены, с привязавшейся троесловницей.

Ночью — ведь он попал под вечерний обстрел — и целый жаркий день Костя Курбатов видел с чердака ненавистных румын, а потом забывался то ли во сне, то ли в бреду в углу на матрасе, а вечером, когда хотел сбежать с чердака и пробраться к своим в другую часть города, перейти через линию фронта, опять началась неимоверная канонада.

Утро. Надпись на стене казалась ненавистной. Курбатов отыскал банку с краской, там еще немного осталось этого сурика, и стал замазывать написанное им. Краски хватило только на то, чтобы закрасить «молодость»... На два других слова краски не хватило. «Любовь. Война» — так и остались пачкать стену...

Костя Курбатов выбрался на улицу.

На перекресток, недалеко от дома, в котором спасался-отсиживался-отлеживался Курбатов, — подкатил крытый КамАЗ, стал сигналить, громко, резко, высокомерно. Привезли «гуманитарные пайки», хлеб и макароны.

Человек в хаки кричал в мегафон о раздаче продуктов питания: выходите, мол, мыши и зайцы роб-

кие, из укрытий бетонных, из нор своих затхлых, — за бесплатной хавкой становись по одному! Было-де вам зрелище нынче ночью, а теперь и хлеба, пожалте!

С грузовика швыряли размашисто и вольготно хлеб, макароны, консервы.

Костя Курбатов хотел есть. Но еще больше — пить. Бутылки с гуманитарной минералкой и потянули его к грузовику — пристроиться в очередь.

— А ты чего здесь околачиваешься? — надела на него хрипучая бабенция с авоськой. — Все молодые и здоровые уже давно в ополчении. Ушли воевать за родную землю! — Курбатов ей явно не понравился. Что-то она в нем заподозрила.

— Я не знаю, как перейти огневую линию, — попробовал оправдаться Курбатов. — Мы не на той стороне, где ополчение... Куда я пойду?

Бабенция презрительно отмахнулась и поспешила к грузовику, чтобы под надзором лихого усача в хаки и с автоматом наперевес получить свою пайку.

Костя Курбатов к борту машины с гуманитарным красным крестом так и не подошел.

Застигнутый войной врасплох на «румынской» стороне города, он и рад был бы оказаться на другой стороне поделенного города, где держали оборону приднестровцы, где находился родительский дом, где жили и другие родственники, ничего не знавшие о его судьбе (телефонная связь не работала), но теперь он был сбит с толку.

В голову полезли опять стихи, вернее, какие-то нелепые прозаические строчки, которые требовали рифмы: «Если ты на войне — значит, действуй...»

План был прост: выискать окольную тропинку, далеко за городскими постройками, и через частный, малоэтажный сектор: от дома к дому, от курятника к курятнику, от земельного надела к земельному наделу (до наступления вечера, до дьявольской свистопляски) — пробраться под другую юрисдикцию. Сперва свидеться с родными, сообщить: жив, а затем уж — в полк, в народное ополчение. Взять в руки автомат и... отомстить за парня и девушку. Да, ведь это лучший исход для поэта!

Да, лучший! Это намного лучше, чем мыкаться по свету, бежать на Запад, идти в услужение к хозяевам новой жизни или идти куда-нибудь в продажную газетенку, уж лучше в торговую контору, продавать стиральные порошки или...

Курбатова остановили. Это была женщина. Сухонькая, невеликого росточка, духом спокойная старика, аккуратно, по-будничному обходящая распоротый минами и гранатами асфальт, в темной козынке и с хозяйственной сумкой, куда-то идущая (возможно, помогать кому-нибудь, оставшемуся без человеческого участия в этой чехарде), совсем не увертывающаяся от вездесущего снайпера, от которого и невозможно увернуться; словом, Курбатова

остановила эта женщина на развилке дорог у начала владений частного сектора.

— Сынку, туда не ходи! И туда тоже. — Она указала рукой на разные стороны света. — Повертай обратно, иначе румыны тебя заставят рыть окопы, а к вечеру расстреляют. Двенадцать заложников ночью расстреляли, а их же сотоварищей заставили забросать тела комьями. Потом грозили и этих расстрелять!

— Что же делать? Как пробраться в центр? — озирался Курбатов.

— А никак. Все оцеплено. Мой племянник, бывший военный, ситуацию как на ладони определил. Пождать треба несколько дней... Старикам только путь и открыт: туда и обратно... Со временем все обрывается. Коридор беженцам дадут. Девчонок вот — насильничают! Девчонкам тоже никак нельзя!

* * *

В том же направлении, куда стремился Курбатов, пробиралась, как-то нескладно, порывисто, приседая и оглядываясь по сторонам, молодая особа. Курбатов не сразу узнал ее. Но, узнав, очень обрадовался: Люба Иванчикова — сотрудница городской газеты. Они были знакомы давно, он неоднократно заносил в редакцию подборки своих стихов.

Любу тоже предостерегла старушка:

— Не надо туда идти...

Курбатов с Любой решили поворачивать обратно. Люба жила здесь неподалеку, а «к своим» стремилась из-за дочки, которая осталась гостить у родителей «на той стороне».

Люба захлебывалась потоками проклятий:

— Черт, черт, черт! Гады! И одни, и другие! Ведь знали ж, что боевая техника на город прет! Разведка ж работает. Почему не предупредили жителей?! — Она была настроена воинственно: решительные нотки в голосе и жесты — никакого цвета в глазах и никакой косметики на лице. Ничего женственного, — никогда такой не думал увидеть ее Курбатов, а ведь было время, заглядывался, оказывал знаки внимания... — У меня малютка-дочь и мама на той стороне. Я не знаю, что с ними...

Они шли мимо перекоренного, сожженного БМП, явно из советских арсеналов (других ни на той, ни на другой стороне не было), возле которого лежал обожженный труп.

Солнце поднималось выше и выше.

— Уф-ф! Как палит. На градуснике сегодня почти сорок, — отирая со лба пот ладошкой, сказала Люба. — А ты представляешь, что с теми трупами, которые никто не убирает? У нас во дворе вчера одного захоронили. Гроба нет. В целлофане. Закопали в палисаднике прямо под окнами... Ты видел их?

— Кого?

— Трупы на улицах. Их много...

— Да, видел, — растерянно сказал Курбатов. — Как только началось, видел. В самый первый час. Парня и девушку... И еще тетку толстую... Я мог быть сам среди них.

— Павильон на автобусной остановке взорвался. Там люди были. Автобус ждали.

— Я когда-нибудь напишу об этом, — сказал Курбатов. — Если выживу.

— Стихами? — чуть язвительно усмехнулась Люба.

— Нет, — ответил Курбатов. — Может, они еще там и лежат на асфальте, под солнцем... Надо посмотреть.

— Никуда не ходи! — приказала Люба. — Переждем у меня. Лишь бы дочка... — Она всхлипнула, в глазах заблестели слезы.

Они подошли к девятиэтажке; Курбатов когда-то провожал Любу сюда... Обшарпанная и пробитая пулями дверь подъезда была широко открыта (в Бендерах 92-го о железных дверях с кодовыми замками еще не мечтали...)

Лифт не работал. Взбирались на девятый этаж. Голодные коты встречали на площадках у закрытых дверей. Выли пораженчески — не громко, но обидно. Люба осторожно отворила дверь. Посреди прихожей стояли тумбочка и кресло.

— Баррикадировалась, ждала ночью штурма, — горько усмехнулась Люба. — А дислоцироваться все-го лучше здесь, в прихожей. Не так гремит. Окна все выбиты...

Окно и балконная дверь были заложены кирпичами книг, закамуфлированы ватным одеялом, стоял полусумрак, электричества не было. Груды вещей валялись посреди пола. Казалось, все в этом мире вверх дном...

— Будь готов ко всему, — предупреждала Люба. — Не исключено, что напротив в доме засел снайпер. На шестом этаже в нашем доме мужчина курил у форточки, милая привычка не задымлять родных, — так его убили выстрелом в глаз...

* * *

Костя Курбатов провел с Любой два дня и две ночи. Люба дважды перевязывала ему боевую рану на ноге — в сущности, царапину...

Отрезанные от «большой земли», в окружении врага, они скоро обнаружили общность и теплоту в отношениях и с соседями по этажу, и подъезду, и ближайших домов. Разводили совместно в бетонных колодцах дворов костры для приготовления пищи (ни газа, ни электричества...), делились последней краюхой хлеба (гуманитарной, другой не было), искали свежей информации, все ж таки по капле проникающей через кордон оцепления с той стороны...

Люди сплотились за это время, жили одной семьей.

А вокруг — усатые румынские тараканы, ошеренные оружием с ног до головы, но какие-то вялые — то ли от жары, то ли с перепоя: пивзавод-то — черпай не вычерпашь... Угощались вояки, угощались и осажденный люд, по воле политиков оказавшийся в патовом положении.

Мощь ночной канонады постепенно спадала, алчба человеческих жертв поубавилась.

Курбатов и Люба все это время почти напролет разговаривали друг с другом, словно не могли наговориться, выговориться или хотели докопаться до чего-то такого, что открылось им только теперь, после залпов орудий на приднестровской земле. Они не думали, не хотели и даже не могли думать о чем-то интимном и плотском, но... В какой-то момент — словно луч солнца просек квартирную темноту через узкую щель, дав поначалу яркий блик на полу. Но с каждой минутой нового взаимного узнавания блик расплзался, заполняя светом уже всю комнату, вытесняя мрак. В какой-то момент несчастная Люба ожила, расцветилась, заискрилась, изливая естественный женский восторг и очарование жизнью — назло всему, сменив наконец и нестерпимые мутные хаки на ясный лучезарный сарафан... Костя Курбатов восторгался и упивался ею в эти минуты. А в мозгу навязчиво стучало нестерпимое, соблазнительное и кровавое: «Молодость. Любовь. Война».

* * *

На рассвете третьего дня, презрев страх, Костя Курбатов и Люба двинулись по направлению к центру города, «к своим».

Курбатов разработал план выхода — с белым флагом. Он поднял над головой полотнище из белой простыни на древке, которое когда-то служило шваброй, и смело пошагал вперед. Рядом, доверительно глядя на него, шагала Люба с сумкой, набитой детскими вещами.

Уже в соседнем дворе к ним присоединились бабуля с питерским внучком и с собачкой на поводке, потом — мамаша с младенцем на руках (макаронами и рыбными консервами малыша не накормишь), дальше — пятеро девчат в школьных форменных платицах и с атласными голубыми лентами выпускниц 1992-го (война ворвалась и на школьный бал!), и далее — повсюду: женщины, мужчины, старики и подростки, с рюкзаками, тележками и колясками... И вот уже целая колонна шагала по городу. Впереди всех победно шел Костя Курбатов, над которым развевался «пораженческий» белый флаг...

Мирные люди, идя по гуманитарному коридору, который сами себе проложили, смотрели по сторонам и не узнавали свой город. Все то и даже более, что покажут затем ведущие каналы телевидения, разворачивалось перед ними, как в затяжном бредо-

вом сне: искореженные гусеничной техникой тротуары и парковые аллеи, разграбленные и сожженные заводские корпуса, магазины, выжженные общежития, разгромленные артобстрелом городские кварталы, до фундаментов снесенные отдельные дома и конечно же — трупы, трупы, трупы мирных горожан и военных. Взбухшие, разлагающиеся. При дикой жары. При дикой войне.

* * *

Пару месяцев спустя вооруженная фаза конфликта миновала: миротворческие силы наконец-то веско подтвердили «протокол о намерениях сторон» (ох, и летели клочки от румынских снайперов по городским задворочкам!). Костя Курбатов поступил работать корреспондентом на местное телевидение. Он с болезненным трепетом отсматривал километры лент видеохроники бендерской трагедии. Вглядывался в лица погибших, лежащих в рядах у передвижных моргов-рефрижераторов, в которых еще недавно доставляли рыбу и фрукты для потребителей всей огромной страны. Он пристально вглядывался в кадры в надежде обнаружить убитых на его глазах парня и девушку — тех, кто нечаянно закрыл его от смерти.

— Свобода без жертв не обходится, — заявил как-то раз видеоинженер студии Игорь Дергачев, который тоже отсматривал всю кровавую хронику.

— Не обходится? — возразил Курбатов. И тут же взвился: — Ты это матерям вон тех, тех, кто штабелем лежат в рефрижераторе, тех, кого безоружными расстреляли, расскажи! Расскажи!

Дергачев ничего не ответил и больше с Курбатовым недавние события не обсуждал.

А как-то раз Курбатов застал предприимчивого видеоинженера в студии с иностранными корреспондентами. Дергачев покраснел, потом стал оправдываться: дескать, от правды никуда не уйти и тому подобное... Он просто-напросто продавал иностранным журналограм, а по сути коммерсантам, кадры бендерской трагедии (пускать их в то время по центральным телеканалам в полный формат никто б не решился, а для гешефта по кабельным заграничным сетям — в самый раз)... Курбатов выгнал прочь иностранцев, а Дергачеву надавал по морде, хотя с детства не терпел рукоприкладства.

В тот же день случилось так, что позвонила Люба Иванчикова.

— Заходи за мной в редакцию, в газету.

— Нет, сегодня не зайду, — мрачно ответил Курбатов.

— Почему? — Голос Любы слегка дрожал.

— Мне сегодня в хозяйственный магазин надо.

— Зачем?

— Краски хочу купить. Стену покрасить... Ты не обижайся.

Вечером Костя Курбатов разыскал тот чердак, на котором прятался в первый день приднестровского конфликта, — прятался, спасенный парнем и девушкой от взрыва и осколков снаряда, — на тот самый чердак, где, контуженный, в полубезумии написал свою троесловицу.

ТРЕТЬЯ СИЛА

Когда взрывалось небо, они, дети разных национальностей, но отнюдь не культур, сидели у фотографа из местной газетенки Вадима Кругликова на кухне. Когда взрывалась земля, тоже. Во все времена они любили этот довольно обширный квадрат — четыре на четыре, с извечным газовым цветком на конфорке в углу и уютным испарением от убегающего кофе (так зачастую забирала их философская беседа). Великовозрастные, они любили во все времена и «Роллинг Стоунз», эти катящиеся под откос камни, которые мхом не обрастают, и им, в сущности, рваный ритм с небес и из-под земли был понятен; но и только: принять сердцем все, что творилось вовне, они не могли. Оттого и сидели как мыши.

Вадикова кухня не простреливалась, находилась в глубине дома и обращена была окнами во фруктовый сад. Откуда и приспевали вестники, пробираясь сквозь прорезины в покосившемся штакетнике, цепкие заросли ежевики и бурьяна, никогда хозяином не искореняемого, где, в сущности, пропадали без следа случайные осколки и шальные пули... Благообразный дом Вадика, доставшийся ему от рано овдовевшего отца-профессора, уехавшего лет двадцать назад с новой женой-студенткой в Москву на знатные преподавательские хлеба, дом старой классической архитектуры, с помпезной надвратной аркой, располагался на одной из центральных улиц города Бендеры, в нескольких минутах ходьбы от исполкома, за который и повелась отчаянная драка в первые дни войны (потом, правда, линия фронта отхлынет от центра к окраинным микрорайонам), дом этот со следами еще не распавшейся промасонской дореволюционной символики на фронтоне — две разнонаправленные стрелы: Восток — Запад, пересеченные двумя волнистыми: Север — Юг (все это в круге; а круг в треугольнике) — хоть и находился в секторе активных боевых действий, но был скрыт архитектурной загадкой — расположением на местности. Дом как бы не замечали; он и розовел на виду узким фасадом, однако же основной массив строения уходил глубоко во внутренний двор. Во дворе — сад. Из сада и сигналы в распахнутое окно интеллигентные Вадиковы друзья, тридцатилетние и даже сорокалетние, взмыленные, со взором горящим. Проходить через парадное в арку интеллектуалам

было опасно — слишком уж на виду: тут либо снайпер тебя достанет, либо заграбастают полицаи окопы рыть, либо свои же в ополчение забреют, — так что лучше уж садами и огородами, которые в этом многострадальном городе занимают существенную долю центральной части.

Итак, друзья фотографа. Провинциальная богема, задолго до начала конфликта провидевшая результат и уже вполне вписавшаяся в военный уклад и быт. Первым заявился до массированного обстрела Сергей Лунгу-Краузе, компьютерщик-программист, ссохшийся от переживаний минувших дней и ночей до фараоновой невменяемости; впрочем, он высыхал и у своих мониторов с электронными таблицами и схемами. Уперся острыми локтями в стол, а взгляд — в налитые плоды за окном.

— Битая черешня и гильзы под ногами; тьматьмущая гильз! — прислушивался равнодушно к набирающей обороты канонаде. — Натюрморт.. Я бы вот и «Макинтош» так изобразил, простреленный навывлет. Пуля, зависшая, как курсор, — между небом и землей — тебе это, должно быть, понятно: «Стоп кадр!»

— Генке Юршину подскази тему, — уразумел Вадик, выставя на большой овальный стол чайные приборы. Создавалось впечатление, что и Вадик свыкся с артиллерийской круговертью и с нетерпением ожидает, что будет, хоть и не признается в этом; все же лучше компании встречать неизвестность, нежели дрожать в обнимку с одной из почитательниц в глухом чулане.

— Юршин сообразит, не слепой, если нос высушет наружу. Никогда не видел столько черешни и вишни на асфальте. Кроваво-пурпурное месиво и гильзы, что-то фрейдистское в них. А к убитым я уже привык.

— К убитым привык? Ты же даже в армии не служил, впрочем, как и я. — Вадик отслеживал краем глаза и появление заспанной своей пассии, Наташи Назаренко. — Доброе утро, милочка, хотя уж пять пополудни, — резко сменил формат обращения, исходя приторным благолепием. — Как спалось-почивалось?.. И можно ли вообще теперь видеть сны?..

Вторым возник в окне весь в поту Витя Зуб, полупророк-полусумасшедший, в мирные дни, о которых и вспоминается-то с трудом (будто бы весь ресурс прошлого, настоящего и будущего вобрала в себя война, длящаяся шестые сутки), ведущий неустанно дискуссии с батюшками у бендерских церквей о грядущем Конце. О чем он будет говорить сейчас? Ясное дело: Конец Света уже наступил! Также воссел за столом. И ему рады несказанно — в эту «славянофильскую среду», как они ее называют тайком, только и жди гостей, которые по телефону вряд ли предупредят о визите, не спросят, что прихватить:

красное или белое (о водке ни-ни, тема запретная, пьют только сухое!) — ведь линии связи обвисли по всему городу, как черные сосульки в стильную жару; столбы выкорчеваны взрывной волной, расщеплены прямым попаданием.

— Ты же наполовину немец, — с ходу обратился этот смешанный приднестровский украинец-белорус к Лунгу-Краузе, — какого черта здесь торчишь? Оформляй в пожарном режиме документы — прямо в аэропорту — и валяй в Германию. Нах фатерлянд, как говорится! За евреями, вон, слыхали, автобусы пригнали — отправляют в Израиль по штампу бендерской прописки. И немцы примут с распростертыми объятиями!

— А он с тобой Апокалипсис хочет встретить, — широко улыбнулся хозяин дома. — Кроме того... вот черт! — позволил себе скверный жест средним пальцем вслед пронесшейся над головами улюлюкающей и звенящей базуки: *она* пролетела, шальная, громкая и громоздкая, что тебе рок-н-рольная шипящая перкуссия, с концертов безумных молодежных, несущая враз смерти двадцать, а то и тридцать в чреве, — и взорвалась бездарно (по мысли создателей, имеется в виду) стопудовой петардой на полях за городом. — Кроме того... — манерно поправил волосы и огладил черную семитскую бородку, — еще не известно, что *там*. Как бы не пришлось обратно приползать, как в свое время Белый или Шкловский — привыкать заново! Мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться! — всмотрелся пристально в Наташку.

— Так всех нас в трусов превращает *мысль*!.. — в шекспировском ключе зашлась, как по команде, Назаренко; она актриса народного театра, не единожды с успехом играла в моноспектаклях классику. — ...И вянет цветом решимость наша... — попыталась она сквозь нервный кашель со сна, а может быть, и с перекуру (в эти дни сигареты таяли на глазах, как бенгальские огни).

— ...В бесплодии умственного тупика! — помог, будто отрезал, Вадим, будто и впрямь знал себя скорбящим Гамлетом: слова, слова...

Вышелкнулась в раме окна и третья бурная физиономия — отведавший вдосталь черешни поэт-авангардист Андрей Белозеров, которого знает вся городская округа, но который не «взял» еще ни один московский журнал (не считая республиканских, меньших тиражом, их-то уж «взял»). Но все впереди — и поступление в Литературный институт, как очевидца современной войны, и длительные московские запои, опять-таки как очевидца этой самой войны, и конечно же — журналы, какие-никакие, а московские. Впереди и пирровы победы на любовных фронтах, и большие поражения на концептуальных... А что еще может быть впереди? Разве только смерть!

— Добрый день, господи! — и тут же выпалил:

*Когда думаешь, что думаешь,
То оказывается, что и не думаешь вовсе,
Потому что, когда думаешь —
То просто думаешь:
О чем-нибудь.
Но когда же думаешь, что не думаешь,
То выходит, что все же пытаешься думать,
Не зная только о чем, —
О том, что, наверное, думаешь —
Ни о чем.*

— Повремените с овацией, — с трудом протискивался в окно, пыхтел от жары. — На манжетах есть еще кой-чего! — продолжил:

*И ведь уже думаешь, что не думаешь,
А ведь о чем-то же думаешь,
Раз думаешь, что не думаешь.
Только вот бы не думать вовсе,
Даже о том, что не думаешь,
Просто не думать — и все!*

Добрался ползком к окну, орудуя руками и почти обездвиженным торсом, и Генка Юршин, о котором заговорили вначале, парализованный на ноги художник. Метался в инвалидной коляске по своей квартире из угла в угол под пересвист пуль, битого оконного стекла; к среде сделалось немощу — вот и заявился: по-пластунски, отмеряя каждый сантиметр разноразличных улиц, — только для того, чтобы быть *вместе*, — вывалившийся, в пыли, горячем и ледяном поту, в сажу, в черешневых потеках; борода его с проседью стала будто крашеной, но не доведенная до нужной кондиции колера, подернутая грязнопалевыми ошметками ягод и случайного птичьего помета. В изгвазданной джинсе, сорокапятилетний художник Юршин был похож на бомжа. Действительно, от хиппи до бича — шаг, однако все *они* с этой войной, свободный ли художник, хиппи или опрятный системщик из офиса, могли оказаться в любой момент без определенного места жительства. А все творческие люди вообще поставлены перед фактом выживания, без поддержки вновь образованного государства, которое даже и не думает никого вытягивать из свалившихся обухом военных проблем, — их, экзистенциалистов, интеллигенцию в конечном итоге, кто совесть народа, кто нерв, будто специально загоняют в предельно уплощенный стандарт: либо в ополчение, либо в какой другой отстойник-распределитель, где вынуждены будут они делать *то* и называться *тем*, как им укажут. Безжалостное, беспощадное время для творческого существа.

Общими усилиями, втащив горемыку-художника в окно, уложили его в холодную ванну — пусть от-

мокает. Генка только радостно промычал, засосав полстакана запретной водяры из рук Вадика; после несказанных-то мытарств ему приятно всеобщее участие... В эту стылую с плюсом сорокаградусную действительность, почти не ощущаемую кожным покровом из-за неимоверного накала ожиданий, становилось дико холодно — от одного ощущения, что какие-то «полярные зодчие», при погонах, либо в штатском, разящие стабильно строгим совковым парфюмом (и мыслью), проектируют *нынешнюю реальность*, опять распусавшись в геополитических амбициях. Манифестируют, перекраивая, Империю *по новой!* Старыми методами!.. И в этот момент опять что-то ужасное пронеслось над крышей. Они пригубились, метались из стороны в сторону, плашмя валились на пол, беспомощные, как дети, поглядывая на себя глазами товарища, также скорченно-го душой и телом; и им было — отчаянно душно, безвыходно и патологически смешно: они проклинали и тех, кто пришел к ним с войной, и тех, кто ее допустил.

* * *

Безусловно, собравшиеся на «среду» имели свою точку зрения: что происходит между небом и землей, отчего они взрываются? Отчего этот попеременно нарастающий гул снарядов и мин рвущихся? Отчего вообще все так заорганизовалось дико, что не высунуться, не пройти в полный рост по улицам без опасения *быть* убитым или раненым; насильно оказаться в ополчении, чтобы тоже — *быть* убитым или раненым! или в плену: рыть окопы, ну, а потом так же — *быть* расстрелянным; если повезет — остаться без какой-либо части тела, так как садистов хватает и с той, и с другой стороны, желающих поизгаляться над интеллигентом. «Между землей и небом — Война!» — пропел перед смертью трагической Виктор Цой, за год до начала этой и подобных войн на пространстве бывшего Союза, словно бы оставил нам завещание: предупредил, но вооружил ли? Он, верно, преодолел страх, раз знал *главное*, в отличие от лидера долгоиграющего «Роллинг Стоунз», предпринимающего омолаживающие операции на своей брэнной оболочке одну за другой.

Противоречивое воображение пророка (Витя Зуб) рисует эсхатологические картины: у каждого из нас свой, мол, Конец, и его нужно встретить без паники и без памяти о мелочах; Конец Света — это ведь всегда Начало чего-то большего, *по ту сторону*, — ни о каком знакомом формате тут и речи быть не может: все забыть, приготовиться к непостижимому! И никакого траура — ни по ком из убитых... Люди принимают иное качество, и оттуда, по другую *сторону*, сожалеют о нас, оставшихся коптить небо. Нам же кажется, что произошло нечто *ужасное*: ле-

жат жмурики десятками и сотнями на улицах города в самых нелепых позах в стылую жару, пузырятся внутренностями перламутровыми, и вот мы уже рвем на себе волосы, что ничем не можем помочь, предать земле толком не можем. Нет, ребята, это еще не конец. Конец — впереди!!

Программист Сергей Лунгу-Краузе также гнет свою линию, невзирая на крепнувший напор канонады. «В программе завелся мутирующий вирус; возможно, это — мы, жители Приднестровья, а может — *они*, сторонники конституционного строя! — говорит вальяжно кухонный академик. — У всех своя правда. Рано или поздно — но все действительно кончится: либо *мы* их, либо *они* нас! И это далеко не Конец Света, завершение «Библейского проекта»! По крайней мере, те, кто под себя заформатирует реальность в нужном режиме: если надо, Конец, если надо, Начало! В любом случае политика — грязная вещь...»

Художник Генка Юршин, переодетый в чистое из того, что нашлось у хозяина, усаженный во главе «круглого стола» на стул-кресло, подоткнутый подушками, причесанный и надушенный стараниями Наташи Назаренко (повезло, успел помыться, так как отключили воду, наверное, разворотило прямым попаданием трубу), глаголет страстно, подчеркнуто поучительно, прихлебывая горячий чай.

— По поводу же погибших, к которым не поспевает сердобольная рука, так это самое ужасное, на мой взгляд, что есть в Конце... Оно возопиет к эстетическому, не говоря уж о этическом... А ведь именно мы и могли бы, не боясь снайпера, начать предавать несчастных землице. Хоть как-нибудь попытаться. Но играем в бездействие, боимся. Мы и раньше обретали этот уникальный опыт — в прятки: с властью, с народом, с Богом, с Дьяволом... Хм! И сейчас прячемся, забираясь под ванную или в шифоньер, — на период обстрела... Да, тела обездвижены войной. Но не дух! Собравшись вместе, мы генерируем сакральные энергии и смыслы и под их покровом город. В этом сила интеллекта. Но обывателю важен человек действия, исполнитель, а не тот, кто объявляет себя способным к контакту нового уровня — со Вселенной, с единой мировой душой... Я могу вот сейчас поднять руки к небу, — отставив кружку, сделал плавный жест, словно экстрасенс на сеансе, — и отвести эту свистопляску: перенаправить поток мин... Мы — во спасение. И только *через нас* — возрождение. Стоит захотеть — мы сделаем их! — посмотрел пристально: — Сторонников конституционного строя.

— Или *они* нас! — отстраненно добавил Лунгу-Краузе; он никогда не доверял экстатическим пассажирам Юршина.

А вот поэт-авангардист выдал на манжетах такие строки:

Сумасшедшие разговаривали между собой

О сумасшедшем воздействии Сумасшествия —
На них, Сумасшедших.

И, быть может, они, Сумасшедшие,
Не в такой степени были бы сумасшедшими,
Если бы Сумасшествие

Не воздействовало бы так:

По-сумасшедшему —

На них...

К двадцати ноль-ноль, за час до более мощного вечернего обстрела, их узкий круг пополнился Кальневым... Пока что на улицах происходил обычный обмен любезностями между сторонами, ни о каком серьезном натиске говорить не приходилось: отдельные пулеметные и автоматные очереди, не спаявшиеся еще в цельную канонаду, отдельные посвистывания и раскаты мин, которые казались также довольно близкими и к которым в принципе привыкли, но все равно пригибались, зная наверняка, что мощная крыша царской постройки выдюжит. Вот только к «эксклюзивным» гаубичным снарядам и случайным выстрелам из системы «Алазань» привыкнуть не могли — но они были до наступления ночи редкостью. Один, правда, крупный снаряд на потеху извергам разорвался вчера по соседству через двор, расщепив сарай и разворотив часть жилища взрывной волной — и как бы вещая о новом витке этой трагедии. Обошлось там без жертв, хозяева укрывались в противоположной части строения — в чулане; их лишь контузило маленько с непривычки да кур помяло, их разноперые ошметки угодили и на Вадиков участок, были отвергнуты псами, даже голодными котами, которые различали по запаху, что и кому принадлежало... Вся улица сочувствовала пого-рельцам, подсобляли кто чем мог...

Итак, Кальнев. Школьный друг Вадика, с кем не раз распивали они под сентиментальную беседу бутылку сухого. (В Молдавии 90-х редко что пили, кроме столового вина.) В самое опасное время появился. Такое от него ожидали: служил когда-то в десантуре, выполняя в Анголе миссию, и теперь может сигать через враждующие блокпосты сколько душе угодно, даже перед наступлением сумерек, не боясь (или делая вид, что не боясь!) ни пули шальной, ни осколка случайного. Не ожидал Кругликов другое. Принципиально не числясь ни в гвардии, ни в ополчении, Кальнев появился со «стволом», урезанной версией «калаша»; держал его на вытянутой руке уверенно и браво, как человек, умеющий мгновенно спустить курок. На вопрос: «Где взял?» — лаконичный ответ: «Снял с убитого!»

— И не поймешь: кто это был? — упоенно пояснял сразу набивший оскомину интеллигентам тридцатитрехлетний герой — непосильным мужеством своим, сумасбродством неоспоримым. — По всем

признакам его еще вчера гранатой достали, когда затеялась эта тягомотная осада исполкома; он и пролежал у газетного ларька, с вывороченным брюхом, даже не полз никуда, елы-палы!.. Не поймешь: наш — не наш, хм!.. — подначивал Кальнев, типичное воплощение уходящей натуры; присаживался к столу, загребая в горсть к чаю дюжину баранок. — Даже если и была б на нем белая повязка, какую надевают румыны, все равно в этом месиве трудно разобрать: кровь, елы-палы, кишки...

Председательствующий художник Юршин поспешно поясняет с придыханием про пресловутую *белую повязку*: отчего ее повязывают осаждающие? Причина не в одинаковой форме советского образца (не успели еще кутюрье забраться с размахом в армейский карман как одного, так и другого вновь образованного государства). Дело более серьезное. В силу вступает древний обычай — рядиться убийце в белое, чтобы дух убиенного не предъявил впоследствии претензий, не свел бы с ума. Уже заключается, таким образом, договоренность — с тем, кого *еще* не убил, но уже собираешься!

Автомат пошел по рукам. Все норовили передернуть затвор или в другом месте загадочном щелкнуть. «Ксюша» с обрубком дула, уже опаленным, едва пахнувшим порохом. На вооружении «Ксюша» у обеих сторон, идеальна для боев в черте города: наступление, оборона — все едино. Но Кальнев, прежде чем выдать трофей в безжалостное общественное онанирование, снял магазин, выбил патрон из патронника, бывалый вояка, ничего не скажешь. Все, замерев, взирали с прищуром тайного самоотстранения, но и не без восхищения — на Кальнева, служившего в армии. Он тут единственный, кто не от мира сего (вернее, это *они* все не от мира сего — в обществе *того*, кто рядом с ними оказывается в подобном положении), бывший дружбан Вадика, забредающий время от времени осведомиться для себя, чем это они тут промышляют — интеллигентки. Ни про какие философские «среды» он и слыхом не слыхивал; просто знал, что у Вадика полон дом, а в какой именно день, не отмечал. Ему давали карт-бланш: слушали, особенно про «героические» будни спецконтингента ГРУ в Анголе. Но возвышенные дискуссии предпочитали все же сворачивать: к чему усугублять пропасть между воякой и интеллектуалами, хотя он-то всегда из кожи вон лез, чтобы самоутвердиться, еще бы, столько в свое время антиправительственных повстанцев положил на Африканском континенте по заданию генерального «полярного» начальства.

Генка Юршин, видевшийся с Кальневым редко, спросил в лоб:

— Почему не идешь в гвардию или в ополчение? Ты стал бы незаменимым ротным! — Кальнев метнул на Юршина огненный взгляд. — С твоей бы хваткой

обозначился перевес, — не унимался Юршин. — По крайней мере, на какое-то время. А может, и во всем исходе войны?..

Вадик ответил за одноклассника, посчитав, что Кальнев задумался не на шутку:

— У него отец русский, а мать молдаванка. Он из принципа не воюет. И это правильно.

Кальнев согласно мотнул буйной головой.

— Воевать — значит подливать масла в огонь! — оглаживал Вадик вычурную бородку. — Без разницы, на чьей ты стороне.

Кальнев опять кивнул.

— А если Москве так важно, чтобы Кишинев не уходил в Румынию, то вся эта бойня вообще ни к чему. — Кругликов поискал глазами и взял с этажерки покалеченное ручное зеркальце, которое принципиально хранил. — Это зеркало, посмотрите... — протянул кому-то дешевую выщербленную пластмассовую оправу, — лежало тихо-мирно, сколько себя помнило, на тумбочке в прихожей; треснуло в первый же день войны...

И вот наконец завихрилась-завьюжилась, застонала — вечерняя свистопляска огневая. Это когда наступающие, укрепившись на позициях, ведут для галочки по приказу свыше обстрел «спящего» города. Особенность данной войны: никаких стратегических действий предпринято не было, все чего-то ждали... Поливают они город, стало быть, раскаленным металлом из всех доступных орудий уже шестые сутки (вернее, шестую ночь подряд); а обороняющиеся — в пику точно такое же дерьмо шлют им на позиции. Никто бы не удивился, если б выяснилось, что порядковые номера боеприпасов и «стволов» идут рука об руку у одной и у другой сторон противостояния. В общем, хватает согласованного дерьма, осколочного и прямой наводкой; в основном, конечно, навесом шлют, апробируя мины итальянские, турецкие, китайские: кассетные, шариковые, игольчатые, — а в радиусе двадцати метров вековые деревья срезаются как лопухи. Понятное дело, не случайно выбран город Бендеры: весь в зеленых насаждениях он, пробиться смертоносному железу к телесной рыхлости человеческой, могущей укрыться под неохватной сенью вяза или акации, проблемно, лучше уж всковырнуть ускользящую мишень наверняка, используя передовую науку и технику. Полигон для испытаний... Каким бы ты ни был героем, как бы ни желал подражать Кальневу, выполнявшему в Анголе специальную силовую операцию, но если ты вдруг оказался за родным порогом в критический час обстрела, когда не на шутку разыгралась эта галлюциногенная «полярная» свистопляска (морозная в стильную жару), то замри на случайном пятачке до рассвета, пусть даже и в доступном для лазерной прицельной марки с подсветкой: мало ли убиенных

в округе брошенных враскоряку, смотреть дико даже снайперу. Есть уверенность, что именно в тебя уж не попадет снаряд. Будут пролетать по касательной: метром ближе, метром дальше, — но ты как в броне. Иначе это какой-то джекпот невероятный, адское совпадение — с отрицательным, безусловно, знаком, веление рока или судьбы! Не шевелись, не накликай на свою голову духа напасти! На асфальт — ничком или навзничь; хочешь жить — во вросший в землю булыжник обратись, а уж затем продолжай вольную медитацию: на рваные долгоиграющие ритмы «Роллинг Стоунз» из юности, на бегущие в пропасть камни, которые мхом не обрастают...

Ежели будешь суетиться, как в кино: пригибаясь или отползая, перебежками или от стены к стене прыжками, то все равно достанут тебя осколки, от них не увернуться, срежут как сочную траву; им, осколкам, невдомек, что ты — положительный, интеллектual с высоким ай-кью, а тело вдобавок тренировал и штангой сверкающей, и учебники зубрил прилежно по историческому материализму, набираясь ума-разума, чтобы выстоять в стихиях *непознанных*, чтобы и не было никаких *случайностей* в твоей богатой открытиями и прозрениями биографии; им, осколкам, только и подавай, что руки твои и ноги, чтобы вмиг превратить тебя в кровавое мочало: чтоб и не было у тебя ни рук загорелых, ни ног: чтоб и тебя самого уже не было, невзирая на годы учения и прилежания, на подготовительные годы страстные по вступлению в жизнь взрослую, результативную!

В период массированного (запрещенного международными конвенциями) артобстрела мирного города противники прятались по блиндажам или по разоренным магазинам и домам. Никто и не думал носу казать из укрытий. Никаких действий наступательного характера не велось, довольствовались занятыми рубежами, с места насиженного, как это ни парадоксально, никто никого не сгонял. Там и девчонок насиловали, и водку глушили; кое-кто опиум баловался или анашой. Бывали даже случаи совместного распития пива на нейтральном (территориально) заводе слабоалкогольных напитков. Уставали бойцы бессмысленно лупить друг по другу — искали путей сближения, но звучал приказ командиров, и все начиналось заново. Было ощущение, что это будет продолжаться вечно. Спрашивается, для чего же свистопляска, непрекращающийся гул с небес и содрогание земли: снаряды, мины и даже несколько «бесполезных» для современного моста авиабомб в Днестр? Ответ напрашивается сам собой: для шоу!! Получается, вся стратегия современной войны — в изнурении: прежде всего городского обывателя! Прислушаемся к интеллектуальной богеме, по сути, нерву и пульсу этой многострадальной земли; хотя

ее мнением никто и никогда заручаться не пробовал, прикрывались «референдумами».

— Сколько ночей будет мерещиться бомбежка! — глаголет Юршин, осев в непростреливаемой гостиной (Лунгу-Краузе с Зубом перенесли художника на стуле), но с осыпавшимся стеклом в раме окна от пролетевшего низко сверхзвукового штурмовика. — Если останемся живы! — не сводит глаз с забаррикадированного наспех книгами и кипами газет оконного проема.

— Нам будет *казаться*, что *живы*, — отвечает Витя Зуб, встав рядом с осмотровым Кальневым у *этого* окна, выходящего и не в сад, и не на городскую улицу, а в хозяйственный закуток, в который если и попадет мина, то при судьбоносных обстоятельствах (джекпот, только с отрицательным результатом). — На самом деле мы уже давно не здесь, — резко повернулся к Лунгу-Краузе. — То есть здесь, но не сейчас! Наше «сейчас» растворилось в кошмаре, имя ему — «Конец Света». И нет разницы: произойдет ли он в будущем или уже происходит.

— Эмоции, — любезно включился Лунгу-Краузе, несмотря на всегдашнее нежелание «сотрясать эфиры» в обществе с Кальневым, по крайней мере, подпускать к себе сомнительного слушателя; он разместился нога на ногу напротив Юршина в кресле у книжных стеллажей, устроенных в стенной нише. — Эмоции... — повторил, видя перед собой только Зуба, вещая только ему, — если их отбросить, то по большому счету ничего не остается: ни ужаса, ни эйфории, ни Конца Света, ни, тем более, Начала — вообще ничего... Алгоритм присутствия — здесь и сейчас, — в чем-то он сошелся с Зубом, но не в главном. — Ты — пульсирующая в пространстве единица, сообщающаяся с другими нервными единицами. Единицы ждут контр-Эго — нуля: «да — нет», «да — нет»... И по мере накопления *чего-то*, нетождественного тебе, и по мере взаимодействия *его* с тобой — происходит изменение качества, состояния единиц в целом. Ведь на данный момент самое естественное положение вещей: война после мира, гармония. Мы просто *этого* не сознаем, испорчены цивилизацией. В Средние века обездоленный люд только тем и занимался самозабвенно — бесконечно воевал. Происходит переустановка программы в пробудившемся от застоя обществе, хотя внешне это и выглядит вероломством, потрясением основ.

— Человеконенавистническая философия, — взвился Юршин. — Программист обязан вперед видеть, а не отбрасывать назад! И покончим на этом; я лишаю тебя слова!

Лунгу-Краузе усмехнулся, однако комментировать не стал, принял пассаж старосты, как и подобает в «среду».

— Я помню рассвет в Анголе, — включился Кальнев; он был рад, что его выслушают. — Внезапный,

бесповоротный: будто бы ночи и не было вовсе. Рассвет на берегу океана... будто бы взрыв, будто бы накрывает тебя обнаружением. И действительно: через секунду начало обстрела: мы — в них, они — в нас; но только ночью не стреляли. Здесь же наоборот...

— Привыкнешь, — отозвался хозяин дома, расположившийся картинно полулежа на кушетке в обнимку с притихшей Назаренко. — Скоро *это* все равно не кончится. Если сравнить с международным опытом, то переговоры по прекращению огня объявляются недели через две-три после начала боевых действий. Эти же только втянулись.

— Верно, — отвечал одноклассник, доказавший с оружием в руках знание военных будней. — Но и чувствую себя кретином. В Анголе было ясно — ДИЗА против УНИТА — мы оказывали поддержку движениям марксистской ориентации, продвигали великие имперские идеалы. А тут — ерунда какая-то!

— И вовсе не ерунда, — влился Юршин, что-то отсчитывая после очередного ухающего пролета, а следом и трескучего разрыва. — Нам рисуют конфигурацию, мы должны в нее вписаться. Если не впишемся — нам же хуже!

— Что же это за отъявленные художники — рисуют? — хохотнул Вадим. — В какой же дискурс *они* нас вписывают? Чем-то здесь пахнет... не политкорректным, одним словом...

— В постмодернистский дискурс! — не задумываясь, ответил Юршин.

— Это как? — Лунгу-Краузе тоже готов был засмеяться.

— А вот как! — ответил за Юршина поэт-авангардист, примостившийся на корточках у книжной полки Серебряного века, и прочитал друзьям *очередное*...

А всего через несколько кварталов отсюда шел беспрецедентный дележ награбленного имущества... Дом пятиэтажный, в народе именуемый «Осенние листья», по названию встроенного универсама, близ железнодорожного полотна в районе «Черного забора», где 75 лет назад была расстреляна когорта зачинщиков вооруженного восстания против королевской Румынии, — и явился объектом тщательного с двух сторон *прошаривания*; впоследствии даже производилось масштабное складирование, кому что Бог послал (или дьявол), в подгоняемые фургоны, которые также были экспроприированы у ближайшей автоколонны. Еще в самый первый день войны дом этот опустел, так как располагался в крайне опасном месте — аккурат на линии противостояния приднестровской милиции и молдавской полиции. Многие квартиры уже выгорели дотла, в основном на четвертом и пятом этажах, в связи с пальбой из подствольников и гранатометов (одни воители выкуривали других, и наоборот). Но нижние этажи

уцелели, лишившись схлынувших жильцов, и хранили много чего ценного, в хозяйстве значимого. Это *бремя*, материализовавшееся в цветные и черно-белые телевизоры, холодильники, стиральные машины, магнитофоны и прочую бытовую реальность, — ныне становилось объектом дележа между теми, кто немногим ранее вел друг по другу огонь, но под прикрытием ночи сменил целевой вектор операции, решил заняться *насушным*... Можно сказать, что гримаса войны обнаружилась в этом именно аспекте театра боевых действий. Люди продолжали и во время передышки гибнуть за металл. Обворовывали не только квартиры, вытаскивая шмотки, не ржавеющие кастрюли, электронику с коврами заодно, — вычищали заводы, выворачивая с корнем тяжелые станки и сплавляя их по железной дороге в неизвестном направлении. А что говорить о тоннах сахара, неисчислимом литраже бензина и солярки, продуктах питания, бесследно исчезающих за каждый день «боевых действий» с городских складов. Пивной завод республиканского значения «сообразили на двоих» — распили в присест противоборствующие: «освободители» и «защитники». Кому война — кому мать родна!

На втором этаже «Осенних листьев» располагалась однокомнатная квартира Наташи Назаренко, двадцатипятилетней особы симпатичной, поступающей из года в год в московское театральное училище, но каждый раз срезающейся на первом или на втором туре. Схлынув вместе с другими жильцами в период внезапного барражирования пьяных армий, претерпев жуткий страх и захватив только необходимое, перебралась она на время к Вадиму, заперев дверь на бесполезный ключ. Надеялась на сохранность имущества. Наивная. Ей было невдомек, что в *этот* именно момент обстрела и канонады из ее однушки гвардейцы выносят, дыша перегаром в распаленные лица товарищей, ее не такой уж и новехонький скарб, — а именно: однокамерный холодильник «Саратов», цветной телевизор «Рубин», стереофоническую приставку «Мелодия» и конечно же видеомагнитофон «Филипс», который она выменяла в Польше на двадцать кипятильников (был такой период в становлении перестроечной экономики — граждане СССР ездили в Польшу торговать электроприборами)... Прихватив и дубленку, и несколько джинсовых юбок для возлюбленных, и яркие мохеровые свитера (тоже польские), один из участников вдруг захотел справить нужду, живот скрутило после бесконечного пойла и неправильного питания, что уж тут поделывать. Недолго думая, бахвалась перед *ребятами*, он прямо в напольном квадрате с пошаговой разметкой, где Наташа занималась аэробикой, на взмыленном от солдатских ботинок паркете, навалил кучу, ну и подтерся содранной с окна портьерой. Гоготали, вспоминая схожие случаи на

других «объектах противостояния», — откупорили единственную бутылку виски из мини-бара: «За здоровье хозяйки!» — кричали, смекнув по вещам, кому принадлежит квартира. — «За здоровье живых!» Потом, правда, в таком же исступлении шли на смерть, заголяясь тельняшками, как безымянная кронштадтская матросня на пулеметное дуло врага, раздирая в экстазе полосатое, мокрое от пьяного пота и слез ожесточения хэбэ. Было в радость прокутить-прокурлыкать жизнь, твердой монетой платили за веселье — умирали молодыми, вечно пьяными! Гвардейцы!

А в соседнем подъезде бесчинствовали полицаи, сторонники *конституционного строя*. Они практически ничем не отличались от первых. Не стремились испражняться в туалетах, устраивали хмельные национальные пляски в квартирах «эвакуированных» бендерчан; лишь белые повязки выше локтя или на голове намекали на принадлежность к другой группе мародеров. Даже говорили они по-русски в переносную рацию: «Ставь кузов ко второму подъезду! В четвертом гвардейцы! Начнут стрелять — не отвечайте: можете задеть нас! Мы с ними потом поквитаемся!..» Гвардейцы также не трогали полицаев, оказавшихся по соседству в отрыве от общего военного действия (то есть на грабеже сошлись они; а может, «общее действие» и был грабеж?). Переживали за награбленное, потому и не стреляли друг в друга. Случись перестрелка — весь загруженный бытовой техникой и коврами «КамАЗ» полыхнул бы в два счета, если б *ребята* разыгрались. Группировки, оставшиеся без внимания штабных начальников (по всей видимости, к «Осенним листьям» относились как к полосе взаимного сдерживания), и впрямь соблюдали паритет, несмотря на то, что основные соединения яростно поддерживали шоу — галлюциногенную свистопляску: из мин, снарядов и трассеров...

Как и подобает в цивилизованном обществе позаботиться о мужчинах, Наташа разносила кофе, согретый на допотопном примусе с проступающими латинскими письменами. Был такой период в жизни города Бендеры — под Румынией — до Второй мировой; многие предметы быта того времени сохранились в домах, числились не только антикварной редкостью, на крайний случай их можно было отрегулировать. Примусом с успехом пользовался в Великую Отечественную и дед Вадика, так как воевать выходцам с бывших иностранных территорий по тогдашней мудрой политике не позволялось, — бомбежки переживали интеллигентные мужи точно так же... Пол уже ходуном ходил, но *они* продолжали делать вид, что все в порядке: как и положено; в первые дни, пока не привыкли, было и похлеще. Даже не нужно зажигать свечей — из разбитого окна, заставленного на скорую руку книгами и прочим канце-

лярским и фотоскарбом, сквозило зловещее зарево. В постылую жару — вяло жесткой полярностью, каким-то диким и необузданным холодом грядущих перемен. Это и был Апокалипсис! Витя Зуб торжествовал. Стало быть, приближается нечто невообразимое — что сотрясет и пространство, и время, а потом перетасует по новой, отформатирует — заставит *оставшихся* поверить в незыблемость законов геополитических, новоимперских!

От нетерпения (когда все это уже случится) Витя предложил считать количество разорвавшихся мин и снарядов. Ведь по-разному они летят, по-разному и взрываются, это целая симфония, диапазон колебаний звуковых неимоверно сложный. Снаряды — это барабаны, достаточно глухой и объемный звуковой план; а вот мины — оркестровые тарелки, — как они схлопываются: что-то ошпаривающее и слух, и сознание присутствует в их частых металлических раскатах. Пули — это скрипки, отдельные партии можно уследить, если должно настроиться: пулеметные очереди — альты; автоматные же — судорожные запевы электрических плоскодонок, которыми пользуется, к примеру, Ванесса Мэй. Мик Джаггер, вот тоже еще, взял моду сопровождать падение своих «истероидных камней» чисто симфоническим форматом, мало ему трех гитар и барабана... Сбились со счета. И кофе не помог. Нужно было ретироваться куда-нибудь в погреб или в подполье. По сравнению с предыдущими днями, а вернее, ночами (массированный обстрел происходил с наступлением сумерек и до рассвета) нынешняя канонада отличалась и большей свирепостью, и уж каким-то неотступным, шаг в шаг, приближением к старому «масонскому» дому. Неужели ковравая бомбежка?! Слыхали о таких, но знали и то, что запрещены они международными конвенциями.

Подполья у Вадима не было. Все его друзья — одно сплошное подполье, творческие люди, способные выдать из собственных глубин экзистенциальные манифесты неожиданные; а вот реального спасительного подполья — нет, негде укрыться в решающую минуту. И перебегать через двор в погреб у забора — страшно: пули шальные то и дело дзынькают о всевозможные выступы каменного декора и жестяные карнизы. Нет, нельзя трогаться с места: лучше уж быть прихлопнутым балкой с потолка, чем превратиться в пульсирующее кровавое месиво от этих пуль нового образца со смещенным центром! Единственно. И Кальнев успокоил, бывалый:

— Пустяки, ёлы-палы. Снаряды рвутся на окраине, или по исполкому бьют прямой наводкой, а грохот, будто под носом. Расслабьтесь — получайте удовольствие!

— Ка-а-кое та-а-кое удо-во-о-льствие!! — зашипила на мужлана интеллигентка, готовые из последних сил поколотить того, кто и не думает пригибать-

ся перед собственной тенью и по ней же ползать, как *они*, ужами и змеями, а просто сидит на голом полу со скрещенными ногами, как йог. А он лишь белозубо оскалился в ответ — прощал интеллектуалов необстрелянных, бесполезных и безобидных существ, если и загребающих в руки оружие поглазеть, то ко-собоко как-то, невнятно, будто и не оружие держат, а пиписки друг друга: с отвращением, но и бережно, с тайным интересом.

Все *они* уже полегли на полу — вокруг Кальнева и его «Ксюши»; калека Юршин — тоже. Не стремились соблюдать дистанции, почти касались друг друга, прижигая плечо или кисть соседа закуриваемыми то и дело сигаретами. Табачный дым висел, хоть топор вешай, несмотря на выбитые оконные стекла. Будто дымовую шашку забросили с улицы, и она туманами вязкими выстилает все их помыслы и страхи... Так в недалеком будущем изобразит Юршин их присутствие здесь и сейчас: старый дом с промасонской символикой на фасаде, густой туман ужаса, исполненные крайнего недоумения лица — и взрывы, взрывы... Покорит современника штампом неожиданным, который распространится и на массовую отрасль информационного вещания-потребления. Будут из центра республиканского сверяться с местной знаменитостью, Юршиным, вспоминая эту войну, без устали демонстрируя в дни памяти по TV слепки их выморочных физиономий... А вот поэт-авангардист Андрей Белозеров принципиально никаких стихов про войну не напишет...

Художник Генка Юршин. Станный он, не сиделось ему среди картин своих гениальных, приполз: через тернии — к друзьям. Часов шесть-семь потратил на черепашие путешествия инвалидное; все больше дворами и огородами старался, но ведь иногда выползал и на улицы, когда надо было в соседний квартал, чтобы уж напрямик сюда. Его не трогали. Он и снайперам был без надобности, и блок-постам — какой из него диверсант, даже документы не спрашивали. Ползет человек, орудия хваткими руками, ну и пусть себе ползет, как в компьютерной игре после атомного взрыва — недобитые, в надежде спастись, еще конвульсируют телами перешибленными. Мало ли по городу пришибленных мечется беспризорно в эту войну. В том числе и затравленный зверек-художник!.. Почти на всех его картинах вместо звезд изображены падающие с неба камни — и лица людей: дремучие, беспомощные, отчужденные...

Лунгу-Краузе — тоже вот не смог без компании. Только бы не в одиночку у потухших мониторов коротать безумное время войны. Наполовину немец, наполовину молдаван, он не участвовал, однако, ни в каких сепаратистских кампаниях по провозглашению республики, на которые была падка моло-

дежь и из многострадальных Бендер, и из Тирасполя. (Из Тирасполя в основном, им там проще давалось *не любить* Кишинев, возбуждать недовольство в себе и в ближнем: Бендеры, в случае чего, на подступах защитят!) Все и вся были полонены пропагандой. И один берег Днестра, и другой. Лунгу-Краузе, как талантливого компьютерщика, подбивали на программное обеспечение оба лагеря. И там, и там до войны он вкусил убеждений, головоломных доказательств, стремящихся привлечь его на свою сторону (еще бы, иметь в членах движения отменного программиста-системщика во времена начала повальной компьютеризации считалось делом первостепенным). Одни внушали ему, что все зло в евреях и русских (евреев — в Днестр, русских — за Днестр!); другие же — что нужно создавать независимое от метрополии государство — Приднестровье (Молдова, мол, не способна к государственной целостности, ее рано или поздно возьмет под крыло Румыния). Ну, в общем, не стал он двойным агентом, Бог миловал!

Многим мирным жителям, не знакомым ни с какими политехнологиями, приходилось верить пропаганде, располагать в чьих-то интересах собственной жизнью, превращаться в пушечное мясо. Интеллектуалы же не становились ни под чьи знамена — хватало ума. Некоторые, правда, поддавались искушению, примазываясь к лидерам, решали карьерные вопросы. Лунгу-Краузе был не из таких, как, впрочем, и Вадим, хозяин дома, фотограф в городской газете, и Витя Зуб, свободно верующий, и Андрей Белозеров, безработный поэт, да и художник Юршин, правда, с некоторыми оговорками.

Основная часть молодых людей Приднестровья благодаря пропаганде в *данный момент* — в ополчении, встали на путь нетерпимости и агрессии, стали пушечным мясом. *Они* же, участники «среды», — осознали необходимость общности, оттого и собрались вместе, под этой крышей, стремясь к выходу из состояния *непонимания*, к интеллектуальному превосходству над теми, кто развязал войну, и над теми, кто ее допустил. Ведь если бы лидеры по оба берега Днестра не проводили ежедневно ожесточенные митинги — никто б не узнал, что русскому давно пора с чемоданом на вокзал. Если б не огромные тиражи и на отменной бумаге листовок и газет, — здесь работник редакции Вадим Кругликов свидетельствует определенно, — никто б и усом не шевельнул в сторону самопровозглашения. Не говоря уж о защите так называемого «суверенитета» другой стороной, кишиневской!..

Кальнев не выдержал. Ему надоело слушать *это* — про интеллигенцию, про народ, про то, что ориентиры выбраны политиками ложные, что никогда высокие чаяния способного меньшинства, выношенные в отрешенности и в прозрении, — не про-

буются к смысловой плоскости большинства, будучи фривольно истолкованы, — ему все *это* надоело!

Ему надоело и то, что он, бывший боец ангольской группы спецназа, без выраженной, однако ж, позиции встать на чью-либо сторону сейчас, воин некогда непобедимой империи, вынужден отслеживать в упор затылок или задницу хлюпика-интеллигента: художника, поэта или фотографа, без разницы, — в тот именно момент отсиживать и свой зад на коврах, держа нос по ветру, когда б его силы молодецкие, лихая стать и уверенность в прошлом (ради чего можно опять пойти на подвиг: во имя будущего!) — сотворили бы дело огромное, дело богатейское!

Какое именно *дело* — разве ж важно. В его-то ситуации! В его вынужденной инертности. Главное — подняться в рост, прыгнуть на амбразуру во благо и *тем*, и *этим*, — быть может, непредсказуемой акцией удастся повлиять на все *это*? Быть может! Да, главное прокричать на белый свет о том, как невыносимо на полпути — где-то посередине с распадающимся сознанием, когда лучшие из лучших рвутся за миг на этой войне, проявляют себя, отвоевая вечность у вселенной: убивают или сами *становятся* убитыми. Когда все они — живут сгорая, за стенами этого дома: молотят напрапалую из автоматов, приходят на выручку другу, перевязывают раненые руки и головы, как в нефти свежей, купаются в крови товарища и своей собственной, — а он меркнет мокрицей подковой, решая, под чьи флаги встать!

Он вскочил, человеческий герой, содрал с себя взмошную майку, подобрал автомат и, сверкая бипсцами в переливах галлюциногенных отсветов пожара, с ухмылкой прекрасной рванул к окну. Настежь распахнул его, разбросав баррикаду из книг и кипы бумажной мишуры с фотографиями тираспольских и кишиневских «делателей», чуть помедлил, потоптавшись на них. Стали отчего-то особенно слышны посвисты пуль и треск колких, бьющих о каменный остов осколков.

— Остановись! — только и успел крикнуть хозяин, также рванувшись к окну. — Убьют! Бой уже на перекрестке!

Но Кальнев беззвучно рассмеялся, озаряемый всполохами неспрадных фейерверков:

— Получайте удовольствие!

И сиганул с высокого подоконника вниз. Подбежал к арке; отвалил приставленные к воротам липкие бочки и громоздкие автомобильные скаты; оттянул тяжелый засов. Выскочил на улицу, даже не прикрыв массивную калитку. Он лихо перебежал, пригибаясь как-то несерьезно — то ли от выстрелов, то ли от возгласов друзей из окна, на другую сторону улицы, привычно пластично, как танцор, занял позицию у полуразрушенной, но еще дымящейся аптеки...

Они продолжали кричать. В это еще нужно было поверить — *они* рванулись за ним, как в вымышленной, нездешней реальности! Но до определенной черты. Не в их силах ее перешагнуть. Сбив дыхание, чертыхаясь и сопя, как заигравшиеся дети, укрываясь за массивными кирпичными столбами надвратной арки, чтобы не распрощаться со своими драгоценными интеллигентными жизнями, *они*, далеко не антигерои, пробовали его *облагоразумить*, — и, однако же, сами рисковали, геройствовали (кого-то из них даже слегка задело, неглубоко, будто лезвием ножа уркаганского по плечу прошмыгнул осколок). Но не тут-то было. Кальнев забрал на себя, как вожжи, знакомые ему огненные и тревожные стихии, по-ребячески радовался им, смеясь и плача одновременно; требовал, крича дико в ответ, от друзей внимания, требовал срывающимся голосом прилежания, требовал азартно идти — созерцателями по жизни. Он знал, что с *ними* ничего непоправимого не произойдет, — укрываются за Аркой!

У него было с собой два полных заизолированных трофейных рожка. И каждый он расстрелял, почти не целясь, на ту и другую враждующие стороны, сбив с толку временно притихших вояк, ожидающих развязки непонятного обстрела блокпоста.

Но лишь на мгновение растерялись вояки, собираясь с суетным дознанием по радиосвязи стрекочущей, руганью напрапалую: что-то о «завербованном профи», о «спланированной диверсии», а ему и *это* хватило, чтобы понять большее, чтобы оценить сверху их спрессованное время и *оттуда* приговорить навсегда их — на отдачу. Ведь на большее они не способны. На иное, не вклинивающееся в логику видения ситуации полевыми командирами, политиками в том числе. И с каждого окопанного и забаррикадированного, поверх взрытого асфальта мешками с песком ДЗОТа потянулись к нему трассирующие хлесткие полосы — почти как в компьютерной игре, вперемежку с обжигающим внутривенным вливанием полярного холода. На Кальнева обрушился плавящийся ужас света, восторг преодоления себя, небесная какофония бесконечно интонирующего и спотыкающегося, но поддающего точно по цели металла; апофеоз великого чувства единения — и с этими, и с теми, которые мочили, мочили, мочили без остановки его жестоко и страстно, распознав наконец пресловутую «третью силу», о которой так назидательно говорили им суетливые командиры.

Наутро же *они*, оставив Назаренко с Юршиным, презрев страх оказаться под лазерным зайчиком снайпера, пробрались на «нейтральную» территорию аптеки, от которой даже следа не осталось: все сплошь в каменном обугленном крошечке. Теплилась надежда отыскать раненого Кальнева — быть может, еще жив! «Наверняка какая-то часть его личности

сознает себя, несмотря на то, что без рук и без ног, по крайней мере, цепляется за жизнь в этом перевернутом мире?» — медитировал, а по сути руководил уже действиями нашей гиперличности калека-художник, нервно сворачивая козью ножку из выпотрошенных вчерашних окурков. Но, осмотрев внимательно *место*, обнаружили только расплавленную «Ксюшу», которую даже бойцы ТСО в качестве доказательства стихийно возникшего боя не решились забрать. Одни только камни, камни, камни. Ни тебе кровинки, ни клочка одежды или изоленты от магазинов, не говоря уж об уместном наличии аптечной атрибутики, разбросанных склянок с таблетками, — все выгорело дотла. Черные камни — пористые и почти с зеркальной полировкой — словно выплавленные в непредсказуемо высоком накале неживых энергий.

Они обращались с речами к ним, камням, безглазым свидетелям подвига, как будто в них жила какая-то сила. Следов Кальнева нигде не было. Кальнев словно просочился сквозь эти приднестровские самопровозглашенные камни, а может, и превратился в них, в те самые, которые, как уверяют мудрецы, мхом не обрастают...

Вот уже восемнадцать лет мы молчаливо несем память о подвиге товарища, но недавно обнаружился след какого-то Кальнева (редкая ведь фамилия!) во Французском Легионе. Он и там отличился; правда, остался ли жив — опять загадка.

ИВАНОВ САБАНТУЙ

На четвертый день войны в Приднестровских верхах было принято решение о всеобщей мобилизации. На главной автотрассе, связующей Тирасполь с соседней Украиной, стоял заградительный отряд. Дюжие молодцы в пятнистых одеяниях и с автоматами наперевес выволакивали из автобусов и легковушек несогласных оставаться в самопровозглашенном государстве. Прочесывались пыльные колонны беженцев. Среди них и находился выпускник Бендерской средней школы Иван Буров.

Ночью Иван переплыл Днестр. Безмерно тягучей, словно кровь, показалась ему речная вода. Крепкий сон забрал Ивана, как только он выбрался на берег. Дважды всходило и садилось солнце над его всклокоченной головой, покуда набирался он сил под сенью прибрежных ив и тополей. Его путь лежал вниз по течению Днестра, вдоль яблоневых садов, с размахом высаженных в пору советского хозяйствования, через прибрежные села к Тирасполю и далее к украинской границе. Не ахти какое расстояние — двадцать километров, дорогу осилит идущий. Иван надеялся выбраться из ада, выбраться и служить лишь Богу, —

подать аттестат (единственный наличествующий в нагрудном кармане сорочки документ) в духовное учебное заведение — в Одесскую семинарию, в Киево-Печерскую лавру или в Загорск, как получится. Иван уже видел себя среди подвижников православных молящимся о прощении...

Среди сверстников в школе он не слыл белой вороной — скорее уж соколом ясным; была в нем и напористость, и неколебимость воззрений; если надо, мог и постоять за себя. Преподаватели души в нем не чаяли — умный, начитанный, одаренный. Ваня учился по классу баяна, по воскресеньям же пел в хоре при кафедральном соборе Бендер.

В тот день счастливый и взволнованный Иван, получив на руки аттестат об окончании школы, решил сбежать с церемонии в актовом зале — во-первых, чтобы обрадовать дома отца с матерью, да и перед сестрой похвалиться — ей предстояло через два года сдавать выпускные, во-вторых, захватить баян и вернуться к школьному балу. За спиной еще были слышны мажорные звуки марша с грампластинки и официальные напутствия представителя горono: «...будущее в наших руках! К победе Приднестровских идеалов!.. Только вперед!..» — как начался обстрел. Не просто привычная уже перестрелка между милицией и полицией, как бывало не раз; и даже не вылазка бронетранспортера, обстрелявшего как-то спозаранку на городской окраине рабочий автобус... Нет, настоящий обстрел.

На уроках по начальной военной подготовке их учили, что делать при атомной бомбардировке. Но как вести себя при обстреле? «Сабантуй так сабантуй!» — всплыла и заклинила в голове Ивана строчка из Твардовского. Уже лежал у школьного крыльца Саша Мальцев, рассеченный. Ты еще помнишь его интонацию, его жесты, а он уж — окровавленные ошметки. Его не просто нет, его и *не было*, «осколок» человека — доказательство нешуточных намерений реальности: все, что раньше, — иллюзия, все, что сейчас, — факт!

...Вот и директриса в залитой кровью юбке, ее волочки учителя, — тополь саданул стволом в актовый зал, стекло угодило директрисе в брюшную полость... Застигнутые на плацу перед зданием гости и опоздавшие выпускники пытались ползти к укрытию, под школьные стены; из здания, презрев страх, выбегали смельчаки, но в мгновение ока, как под разящей косой, распадалась на составляющие и оставались рядом с Сашей Мальцевым. Мины, венценосные в симфонической какофонии, расщепив победно деревья и упившись трелью рассыпающегося стекла школьных корпусов, страстно алкали человеческую органику...

Учитель физкультуры первым *среагировал* на хаос; выглядывая из-за каменного простенка в вести-

бюле и приложив к губам мегафон, он отдавал распоряжения:

— Всем оставаться в школе! Прятаться за колонны и подоконники!..

— С арифметической точки зрения... — шептал бледный как мел представитель гороно в еще чистом франтоватом клетчатом пиджаке, но уже потерявший в чехарде очки с толстыми линзами и потому осевший у двери в учительскую, — ...каждая точка пространства настроена на свою противоположность. Вероятность встречи с осколком или с пулей велика весьма!.. — Очевидно, из-за понимания этой вероятности он не стремился облегчить исход директрисе. С математической точностью все было понятно относительно *ее* судьбы.

— ...Всем продвигаться в подвальное помещение столовой! — командовал физрук в мегафон. — Не подходить к окнам первого и второго этажа!

— Вот вам и выпускной, ребята: пирожное в пак и шампанское на помин души одноклассников!.. — еще пытались шутить, ползком продвигаясь в спасительную глубину столовского подвала.

Вредно мельтешили родители, стараясь накрыть крылами рук своих чад от вездесущих осколков; они напоминали кур, узревших коршуна и выгораживающих *своего цыпленка*: «В подвал! вниз!.. там спасение!..» — срываясь в истерику, стопорили движение, желая протолкнуть цыпленка раньше других.

Натиск падающих мин в квадрате школы нарастал. «Это что за сабантуй?!» — озабочился бы литературный герой, шагни он из спокойного школьного учебника на рубеж раздираемой национальными бойнями советской родины... С шуплым Славиком Чинчилеем из параллельного класса, чей отец уже обозначился на плацу с распоротым животом, случился обморок. Славика за шкурку, как собачонку, кто-то успел втащить по склизким ступеням в вестибюль и поволок дальше, в подвал. Ничем не мог уже помочь Слава родителю, а родитель — Славе. *Знойный июньский вечерок*... Слезы, крики, стоны, призывы к Богу... За какой-то час здание школы стало напоминать декорацию фильма-катастрофы, оформители которого, пожалуй, перестарались даже: претенциозные росчерки осколков мин на панелях стен и потолке, напряженные выкорчеванные оконные рамы и остоны дверей; портреты Менделеева и Невского, и еще не поймешь кого, продавлены чьей-то ногой, засыпаны штукатуркой; бордовые лужи — и ручейки крови от тех, кто продолжал ползти...

Всем добравшимся до столовой предлагали наштабировать и валериану — из медпункта не успели ничего схватить; раненых перевязывали учителя истории и географии, пожилые женщины вне политики, не отдающие предпочтений никаким лидерам по обе стороны Днестра... На вручении аттестатов отсут-

ствовал школьный врач, а зря, нужда в нем была большей, нежели в представителе гороно. Бывший математик со стажем, ныне рьяный агитатор за отделение Приднестровского региона от Молдовы, вслед за очками он потерял и школьную аттестационную ведомость и пытался ее отыскать наверху: осколок прошмыгнул по касательной к плечу, пробуравив рукав дорогого пиджака. Представитель устремился на четвереньках в туалет.

Окна школьного мужского туалета были обращены в глухой торец соседнего корпуса; здесь оказалась полна горница школьников и родителей. Сидели на приступке у «очка», пригибались у писсуаров... многие продолжали искать своих, отбившихся в хаосе «начала», упорно ползали вдоль длинного коридора от туалета к лестничному пролету в полуподвал — звали; за ними тянулся след из кала, мочи и крови — глухой закуток туалета оказался тоже не застрахован от попадания мин. Пейзаж войны...

Иван внимал всей этой круговерти, схожей с взбалтыванием растворов в реторте на уроке химии. Помимо столовой внизу было расположено еще несколько аудиторий — кабинет труда, пионерская комната... Для раненых физрук с добровольцами, среди которых был и Иван, наташил маты из спортзала, что в отдаленном крыле за простреливаемым вестибюлем. Мальчишки сознавали себя героями, им выпало, рискуя жизнью, спасти ближнего!.. Бог миловал, никого не зацепило.

Для чего учеба, годы прилежания и труда, выстроенные планы на будущее, если так легко кромсается человеческий тростник?.. Если наказание больше, чем можно снести? Ведь все *едино* в Вышнем — зачем война? Зачем такой *сabanтуй*?..

«Останусь жив, — поеду в духовную академию или уйду в монастырь, без разницы! Если сила связи с Всевышним крепка, то и ареал верующих будет расширяться, а угодное Богу — множится. Не до войны ведь *пробужденным*...»

Через несколько часов удары мин приутихли. Гаубичные и минометные расчеты отстаивающих конституционный порядок велись теперь по другому градусу города. Из окон уже не обстреливаемого вестибюля было видно, как одетые в пятнистую робу, с белыми повязками на рукавах и в касках, вооруженные усатые мужики перебежками, пригибаясь под встречным огнем, секли из «калашей» пространство жизни и веры. Они стягивались к сепаратистскому горсовету, расположенному несколькими кварталами выше набережной Днестра, к которой и примыкал участок школы. В главном административном здании сидели в бравом окружении казачества и офицеров те, кто задумал перестроить жизнь под стандарты цвета хаки, спровоцировал пошатнувшееся единство, сработал на разрыв. Уже был *Карабах*, уже пылала *Абхазия* — и *Приднестровье* готовилось.

Кое-кто из старшекласников, аттестованный огнем и металлом, улучил возможность пробраться под прикрытием ночи домой. В их числе был и Иван, знавший и без телефонной связи, оборвавшейся с обстрелом, что прикованный к постели давним недугом отец запретил матери и сестренке Вареньке носу казать на улицу: «Взрослый Ванька, должен избежать опасности!..» Как спешил к ним Иван! Спрашивать разрешения об отлучке было не у кого: физрук зашивался с ранеными, бывший математик совсем приуныл, сидел в уголке столовой на шатком стуле... Удалось сказать историчке.

— Так-то, Ванечка, запомни, — напутствовала она, оторвавшись от перевязки родителя погибшей одноклассницы Ивана. — Правители наши — не чета фрицам в Отечественную...

— Зачем вы мне *это* сейчас, Роза Борисовна? — вспыхнул Иван.

— Чтобы делал выводы, в каком обществе тебе жить.

За школьной разбитой оградой по нему начали стрелять. «Снайпер?! — только и подумал Иван, отскочив, не успев испугаться. — У него что — окуляр с ночным видением?!» И *еще* пуля угодила в широкий ствол дерева, за которым Иван пытался укрыться, и *еще*. И опять Иван взмолился...

То и дело провоцировались в темноте под ногой гильзы, то и дело огибал он чернеющие трупы молдаван и приднестровских... Никто больше не бил в его сторону. Может, сила разъединения гасилась уверенностью Ивана, его настойчивым желанием — домой?.. За пятнадцать минут, что он пробирался (махнул по окружной дороге, чтобы снизить вероятность встречи с человеком с ружьем), в голове мелькнуло: чтобы человеческими существами управлять, их нужно согнать в стадо; можно не церемониться; старая власть, коммунистическая, уходит — на смену является не менее беспощадная, — и без разницы, как будет она именоваться, какие обновленные лозунги выдвинет, — и те, и другие молотят бесконечным набором мин и снарядов, отстаивая не *живых* людей, а *идею* государства. И палят друг в друга оголтелые носители идеалов — и все *это* на головы мирных жителей, которым и те, и другие одинаково в тягость. Две бесовские силы схлестнулись, долго ли, коротко покочევряются, а потом разбредутся, о чем-то договорившись. А люди, которые веками жили в единении и согласии на Богом данной территории, эти самые *нации* и *народности*, останутся в дураках. Если останутся. И националисты, и сепаратисты — враги жизни, враги Бога. И с ними Ивану не по пути.

Так успокаивал себя Иван, пробираясь в родному дому через Бендеры. С детства он любил раскрывающиеся с высокого берега над пристанью панорам-

ные виды своего города. Шумно и искристо нынче *там*; в центре древнего 600-летнего города в насадном людском ожидании справлялся сатанинский праздник. И в сотни раз мощнее, чем самые оглушительные схлопы ударных музыкальных инструментов, гремели перкуссии мин да бьющие бесконечную дробь слепкие зигзаги пулеметов, поддающие по горсовету широкие, как кометы, огненные шары гранатометов и светобурлящие, с опадающими всполохами искр, танковые разрывы, призванные выжечь все вмняемое на этой старой земле...

На подступах к родному подворью Иван в тягостном предчувствии остановился. Их дом на возвышении всегда бросался в глаза. Кирпичный, вытянутый вглубь участка, с двускатной кровлей... Еще немцы, по рассказам деда, чаще, чем у соседей, устраивали у них проверки в поисках партизан.

Пробираясь вдоль штакетника, Иван уже понял, что произошло. И хотя он сегодня многое испытал, от чего и сердце замирало, и горло перехватывало, и по коже ледяной озноб, — он понял, что случилось *непоправимое*. Деревянная калитка билась на одной петле; рядом с собачьей будкой — истерзанный труп Боцмана. А в угловой комнате дома, где лежал парализованный отец, — яркий свет от судового фонаря (до болезни отец трудился механиком в речном порту); окно распахнуто.

Извиваясь на простынях на узкой металлической кровати, отец умолял застрелить его склонившегося над комодом человека в пятнистой форме с белой повязкой на локте. В центре комнаты за круглым столом другой вояка ухмылялся тупо в густые щетки усов, разливал по стаканам спирт, изъятый из кладовой. Матери и сестры в освещенной половине не было. Жуткое знание заволкло разум Ивана.

— Нет, я тебя не убью! — Военный выгребал из ящиков на пол мелкий скарб, пытаясь отыскать драгоценности, которых в их доме никогда и не водилось. — Будешь жить, чтобы помнить — *всегда* помнить меня, Аурела Руссу!.. Э-ге-ге, у тебя и сын есть? — схватился за случайную фотографию. — На тебя похож. Где он? Защищает с казаками исполком? В верхах договорено: не сегодня-завтра мы возьмем город, так что и сынка отыщем — среди пленных или «вечно живых»... А ушмыгнет в Тирасполь — и *там* достанем, — страшал истязатель изнемогающего в беспомощности отца. — Слов на ветер *скорпионы* и *барсуки* не бросают! Правда, Ионел? — обратился он к сидящему за столом.

— Убей, молю! — взывал обессиленный отец. — Если осталось в тебе хоть *что-то*, — убей!!

— Это расплата от *народного мстителя*. *Скорпионы* и *барсуки* — слышал о таких? Ночные хищники!.. Расплата за то, что вы сделали с маленькой и цветущей Молдовой!

— Убей, прошу!

— Живи, на здоровье, — вмешался тот, что за столом, притягивая под ноги отозвавшийся всхлипом баян. — Провозгласили Приднестровье, разделили Молдову, а вот как дальше? С кошмаром — *на- всегда*!! Я прав, Аурел? — обратился к напарнику.

— Конечно, Ион! *Народные мстители* позаботятся об этом!

Иван пробрался по отмостке к комнате сестры, приставив ладони к окну, разглядел все то, что *не должен* был видеть. Он и раньше читал в газетах, слышал на политинформации в школе леденящие душу истории о похождениях националистических групп, которые задолго до войны оглашали Приднестровье злодеяниями, — нынче встретился с этим лицом к лицу: с растерзанными мамой и сестрой. Обнаженные женщины были подвешены за перетянутые бичом ноги к потолочному крюку (к которому крепили в веках детскую люльку), из вспоротых животов свисали внутренности. На полу — кровь, уж полностью заполнившая медный таз, в котором мама с сестрой варили варенье... «О, Леле-вари, моя, Лели-вари!» — сцепив зубы, волком взвыл Иван. «Лели-вари» — так нежнейше называл он сестру Вареньку, оберегая ее от напастей, не позволяя снежинке сесты на ресницу, не говоря уж про липкие снежки забияк в школьном дворе... Жертвенные агнцы... Чуду не быть... Остыли, иссохли, окоченели эти родные Ивану утробы... От сквозняка тело мамы вдруг оборотилось к окну, и Иван содрогнулся тому, что было в боготворимом с детства лике! И в это мгновение он *забыл* о Боге, забыл о единстве и всепрощении.

Он ворвался в озаренную отцовскую комнату с диким гортанным кличем, обрушился соколом белым, опаленным карающим ангелом через вакуум свербящего гнева люминесцентно с зияющей высоты, — на крыльях застигнутый собой демон! И камнем припал он к «калашникову», который громоздился на столе.

О чем предписывалось на занятиях по военной подготовке? — «Автомат при заряде приложить к плечу, снять предохранитель, перекинуть затвор — и нажать на курок», — до последнего патрона, навскидку, не целясь, в ближнем бою... За *целостность конституционную* — в упор, разрывая слух и зрение, хватило бы на каждого, чтобы уж — надвое, натрое, на пять частей, не способных спаяться воедино... Салют дробящейся плоти — опять и опять! сквозь пороховой выхлоп едкий! Телевизор и сервант, прадедовский комод, этажерка и напольные часы повалились в чан, замесились миксером сатанинским пронырывающих всюду пуль... Когда левая полумеханика баяна легла с тяжелым выдохом у его ног, патроны в рожке кончились.

Иван обернулся к отцу. Тот улыбался тихою, но *неживой* улыбкой; в уголках упоенно закрытых

глаз проступили слезы: сын получил аттестат зрелости... Долго ли, коротко просидел Иван возле отца, вслушиваясь в воцарившуюся вдруг тишину. Черты отцовского лица заострились, тело распрямилось, обретя нездешнюю стать. Ваня знал, что пустота вот-вот сотрет и эти достойные черты отцовы; аморфная, болотистая субстанция, уж разинувшая свою воронку, готова стереть с лица земли, растлить, затянуть равнодушной тиной трагедию Ивана...

Иван расплескал оставшийся спирт по дому — повсюду, где огонь мог насладиться ссохшимися деревянными поверхностями. Голодное дерево всасывало летучую жидкость жадно — яростнее, нежели уже свернувшуюся в сгустки кровь. Иван чиркнул зажигалкой, вытащенной из кармана одного из молдаван, — пламя охватило дом. Он не оборачивался на огонь, но спиной чувствовал, различал треск стекол и хлопки черепицы на фоне раскатов мин и снарядов. Стенало родное, незабвенное, дедовское!.. Не пытался Иван и захватить оружие, все оставил в горящем доме... Вот только левую полумеханику от баяна сунул за пазуху...

Город напоминал электронную плату: от дома к дому, от квартала к кварталу, от одной вспыхнувшей кроны дерева к другой распространялись дуги замыкания, микросхемы выходили из строя, плата выгорала...

С прошлой жизнью было покончено. Безвозвратно. Больше не было врагов, которым должен был мстить, не было *за кого* мстить — ни отца, ни матери, ни сестры не вернуть; не было и во имя чего мстить — страна, утвердившаяся на жертве его родных, не была *его* страной. Иван презрел заповедь «Не убий!» — и Бог отвернулся от него.

Он шел назад, к школе, шел прямо, не уворачиваясь от шныряющих с густым шипением и свистом пуль, от которых невозможно увернуться. Он хотел еще раз увидеть историчку, рассказать ей о своей трагедии *пустоты*.

Подойдя к школе, Иван увидел на торцевой стене размашистую надпись по-румынски и ниже — на русском: «Скорпионы и барсуки были здесь!» Вестибюль был усеян телами. Всех вытащили из подвала на первый этаж и там расстреляли. Одноклассников и их родителей, политически пассивного физрука и математика из гороно, и Розу Борисовну, и всех учителей. Патронов не пожалели... Иван кинулся было к подвалу: может, там кто живой? Подвал закидали гранатами. Еще витала в сумраке гарь — от человеческой органики и конского волоса из гимнастических матрацев... *Скорпионы и барсуки были здесь*.

В кабинете труда и радиотехники Иван отыскал канистру с бензином (школьный техник Илья Яковлевич, лежащий теперь на первом этаже, не раз сливал в оцинкованную емкость содержимое бака свое-

го старенького «жигуленка». Хозяйственник, чародей рационализации, под чьим руководством неоднократно брали школой призы на всесоюзных и республиканских соревнованиях, он правильно полагал, что всегда нужно хранить горячее — про запас). Иван деловито, не торопясь, разбрызгал бензин по первому этажу; метнул в огнедышащую дракону пасть панель от баяна...

Два дня пролежал Иван на левом берегу Днестра. Он не помнил, как прожил эти дни. На исходе второго он заплакал, орошая прибрежную сыпучую почву, вонзая в нее пальцы, припадая щекой. Бог вернулся к нему.

Последний раз окинул Иван пепелище за рекой. Родной дом и школа — строения зияли обугленными глазницами. Распознал он и дымящиеся остовы окрестных домов — где теперь его соседи? Скорпионы и барсуки, отряды молдавских «народных мстителей» бесчинствовали повсюду. Еще в Дубоссарах прославились они «безупречным» отношением к чистоте нации. «Русских за Днестр! Евреев — в Днестр!» — вот их лозунги, с которыми задолго до вторжения в Бендеры они катились по стране. Они боролись за *единство* — страны и народа; проще всего единства было достичь, убив несогласных.

Да, Иван сжег мосты через Днестр. Но он все еще не хотел убивать. На мстителей, которые подобно скорпионам и барсукам будут расправляться с неудобными, ляжет та же кровь. Возможно, они дадут людям передышку на десятилетие-другое, — но потом все вернется. Война без конца. Скрежет зубовый и запустение. На этом построена постсоветская история.

До Тирасполя, столицы самопровозглашенного государства Приднестровья, оставалось километров двенадцать. Иван пробирался пойменным лесом вниз по Днестру. Ни трелей птиц, ни шелеста трав, ни жужжания докучливой пчелы. А ведь еще недавно лес полнился гамом: с экспрессивным гиком вдруг снималась из-под ног пара уток; острокрылые стрижи и ласточки с чистыми интонациями чертили в воздухе круги; кукушка меняла последовательность интервалов — секунд, квадрат, септим; на брошенной электрической опоре маячило развесистое гнездо с двумя аистами, в полете походящими на таинственных валькирий... В села Иван старался не заходить, чтобы не попасть в строй какого-нибудь формирующегося подразделения из ополченцев; хотя в пути он сталкивался не раз с агитаторами всех мастей — депутаты, казачьи атаманы, мужчины и женщины, неистово призывающие в мегафоны к мести. Им в ответ люди согласно потрясали кулаками, направляя свой гнев в сторону засевшего в Бендерах врага. Люди проклинали Молдову и Америку,

проклинали либералов и консерваторов России... Клятвы мести. Клятвы убивать. В отличие от других «горячих точек» бывшего Союза, приднестровцы переплелись корнями с молдаванами; здесь не должно было быть войны по определению... Но дух войны уже разбудили. Повсюду шли митинги. Люди призывались мстить, записываться в отряды. Мобилизация. «Тьма тьмой поглощается! Зло злом запечатывается!»

— Эй, ты, документы? — приступил к Ивану на КПП у выезда из Тирасполя патрульный. — Кому сказано: стоять!

Иван обернулся. Молодой, розовощекий, с круглым девичьим лицом, — и годами, и обликом под стать Ивану, но уже *на посту*, уже исполняющий наказ: отсеивать из потока беженцев мужчин призывного возраста.

— Вот документы! — протянул Иван служивому свой аттестат. — Других нет. Дом сгорел... Я его поджег, — с трудом прорывались из пересохшего горла слова. — И школу поджег... И служить я буду только Богу, а до остального мне нет дела!

Он резко оттолкнул бойца и зашагал к украинской границе. С бранью, брякая автоматами, к нему бросились, сбили с ног, заломили руки, пытались надеть железные браслеты. Силой снесенного горя Иван вырвался, побежал — за шлагбаум, по кромке асфальтовой трассы, запруженной фургонами и людьми, полагая, что где-то там свобода и спасение... Его опять повалили. Наблюдающий издала офицер выхватил пистолет...

Хлещет из раны кровь...

— Хрен тебе! — с усмешкой заправил пистолет в кобуру армеец. — Кто ж воевать-то будет? Разбегутся все, как тараканы!

— Товарищ капитан, он жив!

— Известное дело, жив! У меня в железный рупь попадание, призы брал!.. Мягкие ткани задеты у де-зертира... Санитаров вызывайте по инструкции! — И удалой капитан приступает к досмотру паспортов.

* * *

Двадцать лет минуло с тех пор... Стреляная рана и впрямь оказалась пустячной, «чирк» на голени зажил в неделю. Не затянулась лишь рана душевная... К чести госпитальных докторов, по-людски отнеслись они к врачеванию Ивана. Беседы с психологом, с ранеными с передовой, работа на кухне и в огородном хозяйстве — они как бы потворствовали непреложному намерению Ивана укрыться от мира за монастырскими стенами. Там же, в госпитале, Иван понял, что новая его семья — солдаты, те, кто смотрел в глаза *пустоты*, кто прошел огонь и воду, кто по ночам от боли и злости скрежещет зубами; мальчишки с сердцем, умом и опытом седых полководцев...

И ничто отныне так не волнует Ивана, как музыка и война; война, в которой он тоже слышит музыку. Он окончил Московское военно-музыкальное училище. Служил полковым капельмейстером в Бендерском гарнизоне и военным дирижером симфонических оркестров Минобороны России. С военно-музыкальной миссией побывал в «горячих точках» — в Сербии, Чечне, Южной Осетии... Из хаоса вселенского дирижерской палочкой он извлекал гармонию, музыку сфер, отвоевывал пространство духа, возрождая из пепла атлантов, богатырей, героев... Дарил надежду победы мирового дня над мрачной утопией мировой ночи... Но ту свою записку к Богу, объяснительную, что написал он, выпускник Бендерской средней школы, оставшись с солдатами, хранит Иван и по сей день.

Боже!

Небеса попустили на Землю чистый грех — пагубу-пустоту, без прикрас! — и мы принимали на головы ее, будучи уверенными в ином: испытание, мол, очищение. Но грех есть грех! Пустота есть пустота! Когда человек, бредущий по житейской надобности, застигнутый в перекрестных линиях жгущего металла, вдруг «знает»: только вот сейчас, именно сейчас, обороти поступь влево или вправо, без разницы, — и тебя разорвет на части, — это грех!! Это пустота!! Когда человек всю эту истерику Небес воспринимает по правилам, пытаясь перестроиться, сориентироваться в предлагаемых обстоятельствах, — грех это!! Человек напивается Пустотой, как до того напивался Моцартом и Бахом; и весь этот посвист оголтелый, надсадный, скрежещающий — мин, снарядов и трассиров — воспринимается не иначе, как интонированное по особой партитуре и дирижерскому велению грозное Сфер предназначение... Человек полонится музыкой пустоты и прозревает, что острее и восторженнее быть не может. Восторг! Восторг!! Испепеляющий восторг!!! Штаны у человека полны спермы и говна, потому что видит несчастных, что оказались «не в то мгновение и не в том сантиметре» обширного грехопространства, не различив такт и размер, молниеносный всплеск дирижерской палочки, не впустили в себя музыку «ночи» и в результате с вывернутым брюхом оказались, с оторванной рукой или ногой, испустили дух от потери крови...

Прекраснее и нет ничего. Музыка взрывов, пуль и осколков, музыка отлетающих в неведомое душ!.. Музыка раньше мысли, раньше того, что за мыслью, она изначальна... Я с бешеного наскока стал иным — с налета минного, со снайперского обстрела... Родных увидел с вывернутыми наизнанку телами: руки матери, ласковые и заботливые во все времена, и руки сестры, о Леле-вари, коими она невесомо подносила к моим губам ложечку отвредить варенье (даже в госпиталь наведывалась обихаживать меня в бреду), — их руки свисали безвольно, переплетаясь по-родственному на проща-

нье, ссохшаяся лоза виноградная... Да отец с благостной улыбкой... Ковчег-дом вместе с погубителями, «модель мира», преданы огню, благоухая угодными небу дымами, воспоминаниями былого, вспрыснутые специей настоящего... Приняв уж судьбоносное обращение, сменил я мысли и чувства: вынуждаю себя взять в руки меч, чтобы продолжать воительство! Участвовать в музыке пепла и возрождения, хотя знал и иные мотивы, восставал против насилия, страха и злобы, животного начала во всех его проявлениях; участвовать в музыке Эроса и Танатоса, в аккордах звучания небесных сфер, которые, распадаясь в партитуре, видятся по-новому сверстанным окладом современности!.. Все мы стреляем друг в друга в живом мирном свете... Я вдруг понял: честнее, правдивее, если я буду отстаивать естественный жизни ход. Ведь и по ту сторону баррикады — такая же прерогатива: взялся за цевье, будучи застигнутым «музыкой пустоты». Другого выбора в проявленном мире для человеческого животного, вкушившего интонацию пустоты, просто нет! Вот конструктивный итог Первого-Последнего дня. Мы, солдаты нового поколения, новой реальности, испытываем наслаждение и жалость к человеческим животным, страдающим и умирающим от самой попытки любой ценой сохранить себя! Музыка вечная! Свободная, юная, прекрасная!

ЦИКЛ «ПРИДНЕСТРОВСКИЕ ЛЕГЕНДЫ» СОЛИСТ

Убили-таки его, не могли не убить этого юродивого, который не боялся пуль. Стал как все — с другими в ряд для опознания у фырчащих муторно солярой рефрижераторов... Многие из тех, кто чурались дурака при жизни, хихикая сумрачно его беловоронью, раз не опускались до чудачеств с микрофоном бутфорским в руке, теперь теснились вплотную, роняя закоченевшую пятерню с рабоче-крестьянской татуировкой (или с жовиальной — матросской) на его плечо, склоняя и заиндевелую голову на такую же чугунную (пока не оттаяла) грудь певца, протравленную дочерна выбоинами пуль. Потом служивые в респираторах расправляли сцепки, орудуя ломом, дабы не возникало помех при огляде — ежедневная разморозка по окончании войны наносила урон гораздо больший телам, нежели их сразу поместили б, скажем, невзирая на исповедание политическое, не в фургоны по перевозке рыбы, а в подобающее хранилище (Одесское или Кишиневское — в те от метрополии центры, где и пестовались планы конфликта; туда направляли бы и взмысленных поиском родственников безутешных. Но как всегда — голово-

тяпство в детальной проработке; на стадию же «огневые действия» деньги нашлись).

Звали его все Олег Газманов, хотя это был творческий псевдоним. Настоящего имени и фамилии его никто не ведал — городская знаменитость, певец на площадях и базарах, звезда без паспорта и прописки. Были в курсе, что он из отдаленного молдавского села прибывает поутру на дизель-поезде в Бендеры; поет, пляшет на базаре, в винных погребах и двориках, а ввечеру обратно — с торбой гостинцев, ну, и с деньгой какой-никакой.

...Жителям Бендер тот солнечный день памятен.

Центральный рынок. Глаза разбегаются от даров природы, полонивших прилавки, лотки, тротуар: черешня, клубника, смородина, малина, огурцы, помидоры, кабачки, капуста; и тут же — вино сухое и крепленое в разнокалиберных графинах — «претворенное солнце Молдавии»...

У одного из лотков Олег наяривает в микрофон с обрывком шнура под собственный аккомпанемент, то и дело прерывающий песенный строй: цоканье языком и резкие гортанные звуки изображают перкуссию, звон оркестровых тарелок и барабаны. На груди у него табличка (выведено коряво карандашом): «Песня — 1 рубль». Репертуар самый популярный: Пугачева, Киркоров и, конечно, любимый Газманов...

Он был доволен и своим псевдонимом, и своей работой. Всегда хохотал, когда ему заказывали песню. Воспроизводил шлягеры, не попадая иногда в тональность, словно пьяный или ребенок. В глазах обывателя, пожалуй, так оно и было: впавший в детство или так и не вышедший из него тридцатилетний обалдуй, хлебнувший «претворенного солнца»...

Но опытный психиатр потер бы руки: дескать, «нашего полку прибыло» — это был сумасшедший, играющий сумасшествие. В том, что Олег «выступал» не бесплатно, была какая-то загадка, обрастающая домыслами и легендами... Трудно было сказать, псих ли он, выбравший имя известного певца по соображениям коммерческим, или ярко выраженный чудик?

Все уж к нему привыкли: торговцы, покупатели, работники администрации; и он на отсутствие клиентов не жаловался. Иногда, правда, получал подзатыльники от пьяных, а иной раз они пускались с ним в пляс. Менты его не трогали.

Петь он начинал задаром, чтобы разогреть себя и публику. Начнет, бывало, с Пугачихи, а закончит ее тогдашним мужем... Но коронный номер был «Эскадрон моих мыслей шальных» — очень уж яростно он его выдавал, и публика принимала «на ура», он ее прямо-таки повергал в шок...

Люди вменяемые походя кидали ему рубль-другой (деньги небольшие — инфляция съедала ценность валюты). Олег постепенно входил в раж: хохотал,

пел, опять хохотал, цокал и фырчал, изображая ударные инструменты, зная, что доставляет зрителям особый кайф придурковатостью исполнения. И всегда подле него образовывался круг зевак — молодых и старых, людей веселых и не очень, которые, тем не менее, смеялись и аплодировали.

Некоторые шутники пробовали его напоить по-настоящему, но Олег принципиально избегал спиртного: что-то срабатывало в его мозгу, какой-то, видать, инстинкт самосохранения. Напрасно люди думали, что он каждый день навеселе: он был просто весел каждый день!

Недолюбливал Олег военных, без разницы — молдавских ли, приднестровских ли или казаков, слоняющихся без дела на базарной площади Бендер, однако деньги от них брал. Но бросалось в глаза, что ведет он себя в их присутствии скованно — это сказывалось в выборе репертуара и в отношении того, чтобы повесить таксу; так бывало, но с другими: мясники, например, одаривали его и покрупнее рубля, а также колбасники и птичники.

Даже пропев пять песен кряду и получив за это от одного казачьего чина всего трешку, Олег не обижался: он отходил в сторону, к продавцам картошки, только чтоб оказаться подальше от этих усатых-чубатых с сыромятными плетками в руках, в начищенных до блеска сапогах со шпорами.

— Зря ты ему трешку дал, хватило бы и рубля, — говорил один казак другому, опорожнив стакан с «крепляком» и отирая пот со лба.

— Чего жалеть, — отвечал его напарник, постукивая перегнутой в кулаке нагайкой о настил винного лотка. — Пусть дурак поет... Кто чем может, тем и зарабатывает. Один воует, другой песни орет. Давай, что ли, еще по стакашку — да на круг пора...

Через несколько часов оба эти есаула погибли, отстаивая городской исполком от армады «молдавских конституционных войск». Они подбили из гранатомета бронетранспортер, а сами сложили головы на алтарь «народной свободы», которую приехали защищать в Приднестровье. Но до своего смертного часа они еще не раз отведают доброго вина, привезенного крестьянами в город на Днестре из молдавских сел. Ни о какой политике, кроме винодельческой, крестьянин-труженик и не помышлял. И чего делят люди, чего хотят — ему и понять порой непонятно.

...Уже третий год Олег забавлял горожан исполнением песен, причем манера его исполнения уже была доведена до некоего подкупающего абсурда вкраплением гортанных и цокающих звуков. В какой-то степени он предвосхитил караоке, но сделал это в предельно самобытной форме. Со стороны казалось, что он впадал в детство: так зачастую выступают дети, взгромоздившись на табурет. А он так жил и этим жил.

Ездил Олег и в Кишинев, но тамошняя публика его не приветила — уж больно была респектабельна. Объявлялся он и в Тирасполе, но там его отшили конкуренты. А вот бендерчане полюбили; его и впрямь ждали, как знаменитость, как живую достопримечательность базара.

Он появлялся на торжище, оглядывая пространство *нездешним* взглядом, начинал петь, и базарная карусель от этого как бы пуше разгонялась: продавцы бойчее славословили свой товар, покупатели становились сговорчивее и скорее приобретали его.

Молодые торговки и торговки постарше дружелюбно улыбались, завидев певца, благоволящего женщинам. Олег помнил поименно каждую и порой вгонял в краску, спрашивая:

— А слабо тебе, Валентина, выйти за меня? День и ночь стану тебя песнями убаживать! — И торговки, расплываясь в улыбке, одаривали его горстями мелочи...

Представители власти не трогали любимца публики, даже сами платили ему украдкой. Молдавский полицейский и приднестровский милиционер могли сойтись, чтобы вместе потешаться над придурком... А через несколько часов они же могли лупануть друг друга в ближнем бою из автоматов. Так и случилось 19 июня 1992 года.

В этот день Олег пел особенно... Музыкальный знаток, наверное, признал бы нынче обретение им и слуха, и голоса. Но обывателя волновало не качество вокала, а забываемая манера исполнителя: яркие жесты и стремление подражать звездам эстрады.

— Давай, Газманов... что-нибудь из Киркорова! Гони! — выкрикивала молодежь.

— Пускай из «Бони М» споет! По-английски! — куражились некоторые, не думая о том, как может быть близок страшный час... Хотя все знали, что молдавские войска — рядом с городом и в любую минуту могут получить приказ атаковать...

Даже председатель исполкома в голубом галстуке заскочил в это утро на базар за петрушкой, взглянул на Газманова, улыбнулся экономно, вперяясь в часы. Председатель собирался в отпуск, да и не мог он предотвратить неотвратимое. Намереваясь покинуть Бендеры, он не знал, однако, что его не выпустят за пределы города казаки, не дадут удрать в Тирасполь, вернут в рабочий кабинет и заставят взять на себя ответственность за судьбу города...

И ему — председателю — спел Газманов и, как старому знакомцу, раскланялся. Всадил ему куплет из Леонтьева про светофор, который почему-то был вечно зеленым... Председатель также не придавал значения шикарному сегодня диапазону голосовому Олега.

В тот день еще один городской голова был на базаре — иерарх Церкви, отец Игорь, он пожаловал в именинном настроении — нынче у него был день его Ангела-Хранителя...

Священник шел по базару и остановился перед Олегом. Тут как тут старушонка в платочке подбежала: — Благослови, отец святой!

Отец Игорь осеняет крестным знамением старушку, руку подает, распаренную от лобызаний. Отрывает старушенины губы-ниточки от ручки поповой, заряжает рублик в кулак, словно в свинюху-копилку... И тут же перед ним склоняется молодая мать с младенцем:

— Пожалей, Господи, и наши души!

И торговка с прилавка подскочила, туесок клубники священнику в дар поднесла. Хромой Семен, точильщик, в людскую теснину вошел и тоже получил благословение... И все это время Олег пел, заливался соловьем, вытягивая романс из репертуара Александра Малинина. В церковь он не ходил, сам себе человек божий.

Но вот пред ясны очи отца Игоря явились двое, снявши форменные фуражки: приднестровский гвардеец и молдавский военный волонтер. Оба молодые, настырные — подступили, как бы справляясь у священника: кто из них более богоугоден? Вероятно, и им захотелось получить благословение на ратный подвиг. Поклонились, замерли...

Олег оборвал куплет из певца Малинина, замерло все вокруг... И благословил священник и того, и другого, и оба, гвардеец и волонтер, отметили его руку поцелуем. А Олег продолжил куплет, но не заунывно, как Малинин, а строго-выспренне, как Есенин Сергей: «Стыдно мне, что я в Бога верил, горько мне, что не верю теперь...». И опять никто не заметил *мотивов* в порыве песенном.

Поднесли отцу Игорю стакан вина, он испил его, стало на сердце веселее, пошagal благодушно к своему подворью... Но скоро настроение изменилось. Первый же орудийный хлопок показал всю зыбкость и убогость текущего бытия. Отец Игорь оказался перед неразрешимым противоречием: ведь он благословлял двух православных — гвардейца и волонтера, — а они всего лишь через несколько часов затеяли бойню... После войны пробовал отец Игорь вновь взять под свое духовное покровительство и оставшихся в живых гвардейцев, и выживших волонтеров. Но и сам бы не мог ответить на вопрос: возможно ли такое покровительство?

А те двое с базара — гвардеец и волонтер, — хоть и изранены были в сражениях, но остались живы. Через пару лет даже оказались в одной больнице после автомобильной аварии — опять никто не хотел уступить другому дорогу... Лежали в одной палате, вспоминали святого отца, а также друзей — милиционеров и полицейских, которые были убиты.

И она, редкая птаха, которую прозвали в народе Гражданка-Война, Гуля Чижова оказалась в тот день на базаре... Как всегда — в камуфляже, с наглаженными до остроты лезвий стрелками брюк и в начи-

щенных до блеска покойнического черевичках. Лунолика, чернوبرова, черноглаза, с калачом черной ко-сы — в звании майора.

Открыто чувств к поющему Олегу она не проявляла, но всегда с ухмылкой внимала его песням. Денег не давала, дабы не вызвать кривотолков, но платила эмоциями — в замороженной мечтательности замирала под «зонги» певца. Нравился ли ей Олег? Вряд ли. Эта женщина самоутверждалась среди воинственных мужей, но умереть зерном, дабы прорасти в сердце *единственного*, так и не сумела. В Олеге она, скорее всего, видела избалованного ребенка.

Она была редактором «Боевого листка», распространяемого в среде гвардейцев и казачества, а также на производствах, и поражала своим воинственным настроением бывалых офицеров; но вот на семейном фронте явно терпела фиаско: была одинока и бездетна...

Она глядела на Олега. Он глядел на нее, выделяя в толпе, — пел «от сердца к сердцу»... Предчувствовал в ней — о чем и себе не смел признаться. В отличие от других в форме военной, к ней благоволил, перед ней старался, пресмешной уродец большоголовый.

Дальнейшая судьба Гражданки-Война такова: она стала полковником, железной поступью поднявшись по служебной лестнице до такого чина. И «Боевой литок» ее возрос и стал многостраничным изданием. Ну, а сегодня кровавые события в городе начнутся с ее подачи. Будет фигурировать ее имя в сводках агентств информационных: о появлении на карте мира *горячей точки*. Выберут начальники штабов и служб секретных в качестве предложения Гражданку-Войну. Подставят ли, посвятят в план — не суть важно. Факт в том, что уже скоро, вот-вот, гвардейцы из группы сопровождения Чижовой откроют по полицейским, которые окажутся у здания типографии с целью арестовать тираж газеты, огонь на поражение.

Но это будет чуть позже, а сейчас Гулена-Война смотрит на Олега, и в ее глазах — слезы. Она их не утирает: скоро все и вся здесь утонет в слезах. Олег же проникновенно дарит ей «Миллион алых роз»...

В тот злополучный день среди толпы слушателей оказались двое интеллигентов: один — местный поэт Влад Саных, другой — йог Хребтищев.

Олег расплясался и распелся не на шутку. Толпа рукоплескала и сама была готова пуститься в пляс, но сдерживала себя: еще не вечер, а середь бела дня как-то неловко.

— Для меня он — загадка! — улыбался Хребтищев.

— Ничего особенного, — отвечал поэт Влад Саных. — Шут — он и в Африке шут!

— Он дарит отдохновение, дарит радость, — возразил йог. — Вот ты — поэт. Сходил искупался на

Днестр, потом выпил вина — напитался энергией. И обязан выдать нечто высокое, вдохновенное, чтобы на Земле и во Вселенной стало еще краше, еще веселей.

— М-да-а... — отвечал поэт. — А в России все ивы плакучие... Да и счастье — несчастье без слез!.. Я, пожалуй, лучше еще стакан вина выпью. И никому и ничего не буду должен.

— Это мудро. В таком решении — соль народа, — усмехнулся Хребтищев.

— А ну, Газманов, иди сюда! — загорелся поэт. — А ну, получай рубль, даже два! Спой нам «Старинные часы»!

— В этом Газманове, — с достоинством подчеркивал йог, когда Олег запустил «Старинные часы», — некий символ, душа народа. Горе дуракам-политикам, которые этого не понимают и задумали расчленивать народ...

Оба этих мудрствующих интеллигента оказались счастливее многих бендерчан, оставшихся в тот день лежать ничком или навзничь в потеках крови... Пуля их пощадила. Оба отделались только контузией и царапинами. Но пока они с моральным превосходством над толпой и снисхождением смотрели на Олега: в скачущих друг за другом бесах и ангелах в его глазах считывали подноготную затевающихся на этом пятачке многострадальном событий... А то, что с солистом происходили иные метаморфозы — с его вокалом в первую очередь, — собеседники, в силу погруженности в аллюзии метафизические, не заметили. Легенда пошла в народ *не* с их подачи...

...Стреляли напропалую, по-крупному. В город входила колонна военной техники. По главной городской магистрали, к которой прилегал рынок, как нож в масло, невозбранно, неуклонно вползала с грохотом окаянными махина, ощеренная жерлами черночугунно, расстреливая все *движимое* вокруг: все, что рефлексировало о Конце, кричит, машет рукой в стремлении прекратить произвол, все, что с сердцебиением неистовым мяукает-лает, бьется крылом из-под гусениц и колес, все, что забилося в расщелины, нырнуло в водоемы, упряталось в пожухлой от жары жареной траве; и, наконец, все *недвижимое*... Семнадцать тридцать по-местному — час «Икс».

Рынок к тому часу уже заметно опустел. Услышав вблизи пулеметные очереди и хлопки мин, люди засустились, растеклись с площади, забрались в щели... Были уже научены: здание полиции, находящееся в пятнадцати минутах ходьбы от базара, обстреливалось приднестровской гвардией не раз. Ныне же не пистолеты и автоматы доказывали *суверенитет* и *целостность республики*, а танки и бронетранспортеры. С визгом неслись мины, трещали очереди пулеметов и автоматов.

Так началась *приднестровская мясорубка*.

Но базарный певец Олег Газманов продолжал петь! Хотя всех его почитателей словно ветром сдуло!

— Боже ж мой! — кричали торговки, укрываясь за прилавками, за мешками с мукой, сахаром и картошкой.

Пули дзинькали отчаянно, все ближе и ближе, били о металлическую трубу каркаса, вспарывали кули, вспенивали столбы мучной и сахарной пыли... И вдруг *все это белое* орошалось красным, и тогда движение между мешками и прилавками замирало...

Но Олег все пел, взгромоздившись на бочку, как на сцену.

— Куда бежать-то?! Где прятаться? — кричали пробегающие мимо него люди, спотыкаясь о лотки с раздавленной клубничкой и черешней.

— Сюда! Сюда-а!

— Да помогите же ему! Видите, кровью истекает!

— Этому уже не помочь! Убитый он!

— Вон еще один!

— У-у, сволочи!!!

Убитых и раненых было все больше. В основном пожилые люди, не успевшие сообразить на посвистывание прошивающих воздух пуль, — со слухом проблема. Хотя какое там уклонение от стрелы жалящей — старики есть старики: *ищут*, где смерть, не желают бежать, как страстная и пугливая молодежь, приснувшая в расщелины... Улыбка в их лике посмертном; в их пальцах, упускающих авоську, — не судорога, а отпущение: и сил своих, и судьбы... Но Олег пел.

Даже когда от взрыва рухнул навес, Олег пел, не замечая ни грохота, ни пыли.

— Уходи-и! Артист чертов! — кричали ему пробегающие мимо гвардейцы.

— Слезай с бочки!

— Беги в укрытие, дурак!

Но он, будто заколдованный, пел. Пел среди пуль. Одного спасателя, желающего вытолкнуть его из-под обстрела, пронзила очередь огневая (срезанная рука выдавала в воздухе крендель, будто кегля жонглерская, подкинута *другой* рукой), товарищи боевые не могли приблизиться, чтобы оттащить тело... Стрельба...

Олег пел, не реагируя на ползущую мать с дитятей мертвым, на лошадь, конвульсирующую с расщепами костяшек вместо копыт, на упавшего к «подиуму» воина, платившего не раз этой скошенной ныне рукой, в обыденности заскорузлой, рубликом рваным, а теперь вот и своей жизнью заплатившего...

Легенда, которая родилась в умах переживших войну бендерчан и теперь передается послевоенному поколению, утверждает, что Олег Газманов, настоящую фамилию которого так никто и не выведал,

во время обстрела, находясь на пересечении пулеметных очередей, пел, взирая на небо и отбросив микрофон. Но не шлягеры эстрадные, не попсу и тем более не шансон. Пел он редчайшей разновидностью тенора, преисполненной нежности и чистоты, арии из мировой оперной классики.

Никаких характерных прищелкиваний языком и гортанных звуков, изображающих ударные инструменты и прерывающих свободное течение вокала. И посвящал он свое вдохновение небу. Он посвящал его жертвам — тем, кому еще суждено было погибнуть в этой некогда мирной, единой, безмятежной стране...

Отброшенные назад волосы, напряженные черты лица... В голосе — жажда света и прозрения. И пафос скорби.

При исполнении оперы Генделя, как утверждает молва, — и у молвы есть свои музыкальные специалисты! — на словах «Мое сердце обливается кровью!» жизнь Олега оборвалась.

А еще молва утверждает, что Олег Газманов вовсе не был дураком, зарабатывающим на рыночных площадях Молдавии. Музыкальные критики утверждают, что он в свое время окончил консерваторию по классу вокала, учился у самой Марии Биешу, всемирно известной Чио-Чио-Сан. Но театральная судьба и знаменитые подмостки оказались не его стихией — не дались! Вот он и бродил по городам и селам...

За телом Олега Газманова так никто и не приехал, хотя к нему на родину и отправили весточку. Может, у него и не было ни родных, ни близких...

ХАРОН

Мысль о том, что кабину его трактора пронзит пуля, шальная или прицельная, вот на этом перекрестке или на следующем, доставляла ему какое-то удовольствие. Вернее, он испытывал знобкий, леденящий душу страх и одновременно удовольствие от этого страха...

Не то чтобы Алесь накликал на себя смерть, нет, он просто свыкся с ее присутствием. Он просто делал свое дело, и ему не мешал страх оказаться под огнем.

С самого начала войны Алесь знал, что он будет делать. Ведь и трактор его с кузовом впереди по изволению начальства «Спецзеленстроя», где Алесь работал с первой графы в трудовой книжке, разрешено было содержать при домовладении. Соседи привыкли, что спозаранку из ворот его дома выплывает ладьей дребезжащей трактор, за рулем сидит Алесь в черной робе, а ввечеру он обратно выруливает из тесного переулочка. Алесь даже на обед не приез-

жал, предпочитая столовку; некому было его приветить: у пятидесятилетнего труженика не было ни детей, ни жены, ни любовницы...

Вот и сейчас никто не дергал его за рукав, не оставивал, строго покрикивая или умоляя слезно: «Куда ты поехал, окаянный? Пусть другие ездят! Хоть режь — не пуш!»

Так голосила бы толстуха докучливая, жена соседа Геннадия, смотрителя автоматов игровых. Да только Геннадий не завелся б с пол-оборота (как его рулетки и бандиты однорукые), не напросился б к Алесю в компаньоны, не говоря уж о том, чтобы организовать *мероприятие* на своем «жигуленке» с прицепом — хотя бы в радиусе трех-четырех кварталов. Кишка тонка; только и мог, что хорохориться «подвигами» армейскими из чехословацкого далека — чемодан с переводками девиц саблезубых привез двадцать пять лет назад... Вот с этим желтым ящиком «оккупационным» и сгорел в автомобиле. Просидев несколько ночей в погребе вместе с супругой вразумительной и отпрысками-близнецами — студентами Одесского политеха, рванули чуть свет в украинском направлении. Не повезло. Из гранатомета и долбанули по ним вояки — то ли с ражу, то ли опасаясь упустить кого; нельзя было доверять даже получасовому затишью — все просматривалось зорко, как с одной, так и с другой стороны. Если тебя оставили в живых — в зигзагах самоуверенных по выходу из укрытия, — то потому, что ты *кому-то* там успел приглянуться. В тебя поверили — ты еще нужен земле (которая и сама безвозвратно разделилась в себе)...

Но Алесь хранила не только судьба, но и, как ни странно, враждующие стороны. Они будто выдали ему билет в будущее, каждый раз слыша тарахтящие звуки его колымаги в затихших кварталах и суеверно провожая ее за поворот. Оставляли его в живых, потому что промысел его был на руку и *тем*, и *этим*...

По оттискам рельефным номеров Алесь опознал соседский «жигуль». При въезде на эстакаду через пути железнодорожные обнаружился остов машины с колесами прогоревшими. Рассыпающиеся от прикосновения чурбаны угольные, можно и догадаться — домочадцы Геннадия, а он — рулевой. Зубы, почему-то не почерневшие, были у него, словно у зайца, заострены: «*В Одессу! В Одессу!*» — улавливал Алесь интонации, коими заправлял себя Геннадий. Еще когда летела, звеня с секунду-другую, стрела тротиловая (пущенная из корпуса на перекрестке, из которого и сейчас, в момент сиесты огневой, доносятся пальба и хохот сатанинский), — этот «звон в ушах» Геннадий идентифицировал: *что-то* восхитительное, как в фонограмме автомата игрового — в апофеозе фарты! Покинуть в лихой скачок город осажденный (неизвестно кто — атакующие или защитники — запустил «муху»), вот поистине вызов:

Джекпот! Проигрался в прах. И жена, и дети — в прах!.. Отсеченные ветви... Алесь перенес останки в кузов, уже полнехонький, подправил багром, чтоб не валились, сел в кабину, отжал сцепление, и — за прочими в радиусе видимости установленной застройки... Еще можно и кого навалить сверх меры, как хворост в период обрезки сезонной...

Соляркой он был обеспечен. Воля случая. Несколько бочек горючего начальник разрешил хранить рядом с трактором, зная, что Алесь не падок на левые заказы — доставить клиенту на дачу мебель или урожай на рынок... К Алесю, признаться, вообще никто и ни за чем не жаловал...

Может быть, потому, что был он отрешенным, молчаливым и нелюдимым. Как монах или трудолик. Пить он не пил, а то бы давно утонул в бутылке. И ходил в черной спецовке круглый год, даже отправляясь в магазин за продуктами; и в кинотеатр раз в месяц — тоже в черном. Без претензий. Будто знал, что рано или поздно случится в его жизни что-то важное, самое важное, что и откроет его душу...

Алесь никого не винил в приднестровской войне. Чтобы обвинять, нужно было встать в строй. Будучи наполовину белорусом, а на другую — украинским молдаванином, как и большинство населения региона, где исторически сложилась такая мешанина кровей, он понимал одно: над этой бойней стоят силы сверхчеловеческие, им виднее, как управляться на земле.

За день Алесь пересекал на своем тракторе враждующие блокпосты раз по десять. В первые дни он увозил больше трупов, чем потом, через несколько недель. Нынче под шальные пули попадали лишь редкие шатуны или слишком любопытные... Воюющие стороны не удосуживались подбирать своих мертвых, а вот Алесь, не имея на то никаких директив, руководствовался совестью: кто, как не работник «Спецзеленстроя», ответственный по цеховой принадлежности за чистоту города, возьмется за уборку последствий военного времени — мертвецов, которые тоже *ждут*: сучат кулачишками, клацают челюстями: не оставляйте нас, как есть, враскоряку, кого у исполкома на площади, кого под крошевом стеклянным в универмаге, а кого в павильоне искореженном остановки автобусной, по маршруту уж и не поймешь чьей армии. Несколько сотен невинных горожан полегло в эти дни и столько же военных с двух сторон — они требуют, вопиют, потрясая своды небесные, заклиная звезды и луны...

Алесь в первые часы первого боя был оглушен в огороде снарядом, выпущенным из системы «Алазань», — земля умягчила буйство разрыва; асфальт усугубил бы последствия — повезло. Перемогая боль в голове, он кинулся в сарай, чтобы укрыть досками бочки с горючим, но там и упал возле бочек, провел в бессознательном состоянии неизвестно сколько

времени, разглядывая в оцепенении звездном *тех*, кому *не повезло*, их призрачные лики... и он протягивал к ним руки мозолистые... Когда же открыл глаза, то оказался возле своего трактора, который не имел никаких повреждений, лишь несколько маленьких вмятин на кабине. Будто по команде, Алесь взялся за дело — поехал к эпицентру событий — это звездное небо диктует мотивы и волю. В нас и через нас!

Занималось утро. Светлело. В Алеся стреляли. Но небо звездное охраняло неотлучно даже в час, когда солнце поднималось к зениту. Он не боялся! Под пулями загрузил трактор, особо не церемонясь с теми, кто ждет одного — быть погребенными; кряжистой своей фигуркой (в черном) напоминал тролля сказочного или мужичка-с-ноготка из фольклора молдавского, наделенного *силой*... Ехал, притормаживая, чтобы подобрать свалившегося неумеху с горба груза... Это была какая-то манифестация с его стороны, почти вызов! По обезлюдевшему городу, местами лежащему в руинах и пожарищах, в утренний час сразу после прекращения огня тархтящая, дымящая сизыми выхлопами «ладья» Алеся везла мертвых людей с одного берега на другой... Из одного царства — в другое... Мужчины, женщины и дети навалены валом, как хворост, сплетясь телами; и смотрят: с борта экипажа *во все* румбы *во все* глаза — с Мертвого Света в мертвые свои глаза!.. Алесь собирал жатву, посредством которой и происходят сдвиги тектонические в обществе. Лишь тогда устанавливается *нечто* в социуме, когда за это *заплачено* — жизнями представителей этого социума...

И рейсов таких он сделал немало.

Документы у него не спрашивали — все было и так понятно.

«Проезжай, не останавливайся! Быстрее, быстрее!» — кричали гвардейцы на посту и казаки, махая руками и пряча взор от возницы, готового, как укор людям с оружием, вставать на досмотр. «Репеде, репед!» — и молдавские волонтеры у огневых точек, метрах в двухстах от приднестровских по ходу движения колымаги, закрывали лица, поскольку были так же суеверны и боялись накликать на себя беду.

Однажды Алесь транспортировал семью. Жертвами минометного обстрела стали отец, мать и дочь. Родни, видать, у них не было, а если и была, то, поди найди ее, чтобы подобрали после налета и похоронили честь по чести... Алесь поднял в тракторную тележку отца и мать, а с дочкой вышла заминка. Она была не тяжела, но у Алеся залило слезами глаза, когда он увидел, разглядел при свете солнца не совсем сомкнутые синие глаза ребенка. А когда он укладывал девочку возле отца и матери, то как будто — показалось, конечно! — услышал от нее тихое: «Спасибо!»

Алесь почувствовал укор, что не мог позволить себе уважительного отношения к мертвым: валил и

впрямь как хворост, как вредные в эпидемиологическом отношении элементы. Последующие жертвы укладывались в ряды, что как-никак сохраняло их достоинство; он усердствовал раза в три больше обычного, поправляя чью-то выбивающуюся руку или ногу. Старался для благочинности и по православному обычаю скрестить в меру возможности (окоченение брало свое) ладони на груди, подвязывал и челюсть, пылью забитую... Ту же семью не забывал. Пока вез, уловил разговор (как ему показалось!), который затеяли *эти трое*. Не понимая, он напоминал.

— Мамочка, из-за этой войны я не успела разобраться: кто я — русская или молдаванка?

— Без разницы, — отвечал за мать глава семейства. — Мама у тебя молдаванка, я — русский. Как хочешь, так и определяй!..

— Интернационалист выискался! — собиралась во мнении мать. — Хм! Нет хуже слыть манкуртом!.. Мне жаль, что нашу Лолу я так и не обучила языку. А ведь война, по сути, из-за *этого* и началась — никто не хотел овладевать предметом!

— Очевидно, предки, вы оба правы. Только зачем война? Здесь, где мы оказались — *в Мертвом Свете*, — привычного языка нет, а вот там, где еще будут вестись дебаты, разгораться страсти, — язык играет значение... почему же *они* его не преодолевают по всей земле?.. Чтобы *это* понять — необходимо умереть?

— Быть членом общества, обладать памятью и волей — значит, *быть* в языке! — была строга в смерти мать. — Язык и определяет личность в исторической перспективе... Без языка мы ничто!

— Но ведь у мертвых *свой* язык. Он почетнее и понятнее, чем язык национальностей. Наш язык — даже для деревьев и птиц...

— Иначе говоря, — молвил с впечатанной в лицо оправой роговой отец, — языком все начинается и языком заканчивается на грешной земле. Мы преодолели язык, стало быть, преодолели и жизнь; вырвались в сверхжизнь, обретя сверхязык... Мы станем лучами Логоса, разлитыми во Вселенной. Скоро *узрим*... А конфликты межнациональные, базовым двигателем которых являются споры о языке, — для того, чтобы кинуть хворост в костер смыслов... Жертвоприношение — великая наука!!

— Мы полетим, полетим... — воскликнула девочка, словно сбывались ее мечты. — Боже, как это славно: полетим к звездам!..

С этого момента Алесь *по-особому* замолчал, хотя и был немногословен. Эпохальное стихий преломление по касательной ласкало его чутье *глубинное*. Вылазка ли танковая приднестровцев на мост через Днестр, битва за исполком, опрокидывание войск конституционных к окраинным микрорайонам — все это вызывало в зрителе воль мировых усмеш-

ку, готовую сорваться в храп благостный — слов земных преодоление. Контактировал с Царством Мертвых, там свои законы. Соискателям нужно переправляться через Реку Времени, Алесь вызвался в перевозчики.

Через несколько суток кровавых столкновений Алесь уже не свозил мертвых на кладбище в уготованные им общие могилы. По распоряжению горсовета, возобновившего функционирование после вынужденной анемии, руководство железной дороги выделило холодильные секции. Это было требование здравого смысла: все равно трупы будут выкапывать из захоронений для опознания, так что лучше поместить их пока в холодильные камеры...

Алесь работал по-прежнему, у него даже маршрут не изменился — каждый день он ехал через поделенный город, через оба поста.

Но и ближе к финалу войны, когда противники уже самостоятельно контролировали вопрос с *выбывшими из строя*, Алесь все равно продолжал совершать свои ходки, посещая обе части поделенного города.

Выезжая на окраину, где город был хорошо виден с вершины, Алесь глушил мотор, смотрел с холма виноградного в долину, на пульсирующие в дымке заводские корпуса и дома городских жителей. Кое-где тянулись шлейфы пожарищ после ночных обстрелов или же огневые всполохи. На *своей* территории казаки выкуривали снайперов; на молдавской — колонны с гуманитарной помощью были сиреной, призывая обывателей к бесплатной раздаче провианта...

Алесь испытывал даже дискомфорт от невозможности быть столь же полезным, как в первые дни войны. Постигая направление *поиска*, бороздил лоб сетью морщин, задыхался от нехватки — нет, не воздуха, а... *бессловесных форм знания*... Тер виски, ерошил волосы, словно электризовал мозг, вызывал ток в чувствах и мыслях. Наконец, и предвосхищаемое, — более сильный импульс интонационный, складывающийся в фонемы, даже во фразу: «*Я — здесь!*» Алесь на полном ходу устремлялся к *месту*. Под рухнувшей оградой заводского корпуса или поблизости от свежей воронки он находил убитых и перевозил их в холодильные камеры. Ежели встречались подающие признаки жизни, Алесь ощущал одновременно и радость, и какое-то разочарование, словно он оказался лишним. Но и в такой ситуации он был нужен: отвозил раненого в больницу.

А прежде, когда мертвецов было видимо-невидимо вокруг (в первые дни войны), по которым зывала яма за воротами кладбища, Алесю, по правде, и некогда было *умоплагать* — брал физической сноровкой: стахановец. Пот катил ручьем, мозоли не заживали, кровь коростой покрывала робу. Вечером,

невзирая на россыпь слепую скачущих по глади водной осколков и пуль, он входил в Днестр, не снимая спецовки (водопровод не работал; все шли с ведрами к реке), чтобы наутро быть во всеоружии, во всего-товности. Ведь жизнью он рисковал. Целились даже в кошек и собак — от безысходности, начавшей мутить и молдавских, и приднестровских вояк. Бежит, бывало, по спорной территории четвероногое в поисках съестного — тут-то по нему и шандарахнут. Для сатанинской буден явленности! Для себя утверждения!..

...Когда Алесь впервые вел трактор к кладбищу, он сбавил ход у приднестровского поста; казачки высыпали поглазеть: не было еще никаких указаний, признавать или не признавать самодеятельность Алеся.

— Так, брателло, повертай! — распорядился чубатый есаул. — Зачем нам жертвы? Через двести метров «румыны». Они и тебя уложат в кузов, а трактор и твоя голова — наперегонки по склону к нам!

Алесь усмехнулся, заглушил мотор. Он не собирался вступать в полемику, знал, что все образуется само собой. Куда, как не на кладбище, везти мертвых, а оно располагается на занятой территории.

Через минуту явился, слепя лампасами, некто постарше званием, с окладистой седой бородой.

— Не кипятись, есаул... — взял за плечо молодого подчиненного. — Не видишь, что ли: ладья Харона! — проявил он начитанность, поигрывая нагайкой. — А это — сам Харон!

— Что за ладья? — тронул фуражку над чубом есаул, не понимая, о чем идет речь.

— Та самая ладья и тот самый Харон, что перевозит в страну мертвых. — Старший отмахнул Алесю нагайкой: мол, поезжай! Добавил вслед: — Никто его там не тронет... Он мертвых везет. Вот возьмем высоту, тогда и Харону будет попроще.

На враждебной позиции действительно никто к Алесю не подошел. Видимо, изучили с высоты в бинокли, что за груз он везет в тракторном кузове. Алесь, по большому счету, был всем выгоден, потому что собирал в свою «ладью» всех, без национальных различий...

А прозвище Харон, как ни странно, приклеилось к Алесю по обе стороны фронта. Алесь был единственным из живых, кто пересекал по несколько раз в день линию огня — он стал настоящим проводником в *Царство Мертвых*.

Однажды казаки решили задействовать Алеся в операции. Казаки — они казаки и есть: им бы только удаль свою проявить да по задумкам оказаться впереди воинства! Придумали они Харону иную миссию... Алесь должен был подъехать якобы *со своим* грузом к вражьему блокпосту, на котором был установлен крупнокалиберный пулемет. Ему велели

выйти из кабины трактора якобы по нужде или чтобы справиться у «румын» о солярке, которая некстати закончилась, и в этот момент, укрываясь за стеной полуразрушенной постройки, активизировать радиовзрыватель.

После большого взрыва подтянутся казаки на лошадях — и высота будет взята! Все просто: обычные провода мертвецов, которых необходимо доставить до места... Алесь только усмехнулся, выслушав их план, головой кивнул.

Ночью приспособили трактор для последнего выхода в мир грешный, для последней работы, которая должна послужить в самоотверженном деле борьбы с врагами.

В назначенный час трактор Алесь миновал казачий пост, в кузове под дерюгой лежал якобы труп, на самом деле — взрывчатка. Впереди — пост вражеский, цель операции.

Алесь испытывал вдохновение. Трактор, казалось, сегодня тархтел громче: чернь гремела из рас-труба текстурой, норовя обернуть день ясный в пелена громогласно-копотные. «Похоронные ленты» стелились за «ладбей». Военные вышли из укрытия навстречу приближающемуся на аккорде Харону. Наконец мотор заглох, трактор остановился.

За время поездок Алесь помнил загорелые лица каждого волонтера, приписанного к этому посту; видел их и по отдельности, и с командиром, когда тот строил их, ругая или давая указания; *знал* как незрячий на ощупь родных: выбрит ли подбородок, вздернуты или подковкой усы... и *по* жестам, стати, безусловно, различал — мастер «Спецзеленстрой» каждый крупномер на участке вверенном.

Рослые, как на подбор, парни: остриженный коротко Петрике, Ион с шаровидной кроной-головой, Григоре с колючим взглядом из-под густых бровей, лысоватый Тудор... И вот теперь он будет все это ветвящееся в совместной притирке пород великолепие, все *выдающиеся* экземпляры корчевать...

— Что-то у тебя мотор сегодня разорался?

— Газуешь сильно!

— Легчиком себя почувствовал? — смеясь, тараторили по-молдавски окружившие трактор вояки.

Алесь отмалчивался.

— Сорвешь агрегат...

— Форсунки и стабилизаторы...

— А у нас перепонки сорвутся...

Трактор Алесь остановил прямо у блиндажа, из бойницы которого выдвигалось черное жерло пулемета.

Алесь делал вид, что с трактором есть у него нелады. Думал: как и *по ту сторону* сохранить им лицо, выправить штаб! Эти выбритые по приказу командира (чтобы дух уныния не проникал в ряды) лики с подковками и щетками усов!.. Он поджидал командира, остававшегося, вероятно, в блиндаже. Но вот и

он, Чубэр, подтянутый, в тельняшке, вышел из бетонного укрытия. По усатому лицу его пробежала тень. Спросил сухо:

— Петрике, Ион, что случилось? Какого черта ему тут надо?! Давай... убирайся! — заговорил он с Алесем по-русски. Но сменил сумрачность на любопытство: — Сколько везешь? Из «наших» кто есть?

Алесь ответил:

— Везу достаточно. Шестерых!

— Шестерых? — удивился офицер. — А наших сколько?

— Пятеро ваших. — Алесь вытащил из-за пазухи дистанционное управление. — Пятеро! А всего будет шест...

Никто не успел опомниться. Только в последний смертный миг в их глазах блеснул страх неистовый... Блиндаж был разрушен, огневая точка подавлена.

Мог ли Алесь выжить, если бы спрятался, как ему велели казаки, за стеной в десятке метров от дота? Возможно. Но он даже не вылез из своего трактора, собрал постовых вокруг него, чтоб уж наверняка...

С диким порывом ветра, с гиканьем и цоканьем копыт ворвались казаки на разрушенный взрывом пост. Алесь — казаки это в бинокли видели — повторил подвиг времен Великой Отечественной...

Наверное, Алесь, который в жизни был угрюм, *летел теперь над миром* и улыбался... — улыбался всему, что происходило и будет происходить внизу: ликованию казаков, пришествию в город миротворцев, мирному строительству, возведению памятника ему — Харону — «от лица благодарных» горожан, празднованию десятилетия республики, а потом и ее двадцатилетия...

Посмертно Алесь был награжден президентом республики, а молдавские военные — Петрике, Ион, Григоре, Тудор и командир Чубэр — верховными начальниками уже другой страны.

Отпевали их всех в местной церкви по православному обряду. В цинковых гробах.

АНГЕЛ

В город на Днестре нагрянула съемочная группа с маститым режиссером Резонтовым — выдать в итоге нечто фестивальное. Фильм игровой про местный сепаратизм — это модно.

Горожане к миссии киношников отнеслись с пониманием: кто в массовых сценах готов был играть, кто дом или участок для съемок предоставить, кто транспортом подсобить. Кроме выгоды был и моральный стимул: «Никто не забыт, ничто не забыто!»

Режиссер-креативщик нервно втолковывал оператору про «наезд» на кладку стены, испещренную небутафорскими рытвинами от пуль и оскол-

ков. Оборачивался на актеров, которые ждали своего часа в креслах-шезлонгах, выискивал главного исполнителя, одетого, как и его «боевые» партнеры, в заляпанную кетчупом и присыпанную мелом рванину.

У Резонтова, однако, многое не связывалось в понимании приднестровской войны. Потому и прибыл он сюда: разобраться на месте, а не отснять полный метр в павильонах Мосфильма и в ландшафтах за МКАДом.

Казалось, сценарист потрудился в архивах, и аналогии подобных социальных катаклизмов уже имелись, но что-то в цельную картину не складывалось. Можно было бы выехать на колорите отношений: между командирами и ополченцами и казаками; между конституционной армией и обывателями (по сути, молдавская армия расстреливала мирных граждан, в то время как российская армия, дислоцированная в городской черте, отгородилась бетонными заборами, а ее разведка хваленая не предупредила граждан о военной угрозе); наконец, между самими враждующими сторонами, которые вели себя по отношению друг к другу иногда с неоправданной жестокостью. Можно было бы... Если бы не суровые и одновременно угодливые горожане, сыплющие показаниями...

— Ты должен сыграть то, что осталось между строк! — вводил в роль режиссер главного героя.

— По сценарию, — отвечал исполнитель, — я вхожу в раж после первого мной убитого. Начинаю крушить все подряд. Рэмбо... Ход обычный, ничего особенного...

— Нет, это не так, — возражал Резонтов, посматривая на живое кольцо сгрудившихся за флажками местных жителей.

— Накануне войны в церкви два врага стояли рядом, и оба припадали к кресту и к руке батюшки. Вера скрепляла их, а не разделяла...

Актер неопределенно кивал. Оставив исполнителя, Резонтов приблизился к местным жителям:

— Так что же у вас тут произошло?

Но вразумительного ответа от стоголавой толпы получить сразу ему не удалось. Тогда он позволил слово молвить старому-престарому человеку.

— Жарил нас Кишинев на адской сковородке! Палили во все движимое и недвижимое. А вы в граде столичном и в ус не дули!

Старика перебила женщина средних лет:

— Пoutu все тихо было в ту пятницу. Часа в три пополудни дети гоняли мяч во дворе, и мой сын пулю получил. Теперь к креслу прикованный! Сколько комиссий прошли, а к инвалидам войны не причисляют... Случайная пуля, может, снайперская... Ведь война официально началась в семнадцать тридцать...

Тут загудели и другие:

— Военные волонтеры вошли в дом, приказали надеть тулуп и ушанку — в сорокаградусную жару! — и... бегать в кукурузе... «Выпас баранов» это называлось...

— Дядя-режиссер, глядите: часы убитого...

— Такое и представить трудно, товарищ режиссер. Не только русские страдали здесь в войну, — говорил чернявый человек с молдавским акцентом. — Без ран полицейский на глазах сослуживцев умирал непонятной и мучительной смертью: вздувались руки и ноги. Автоматной очередью он прошел сродника, воюющего за анклав. Исполнялось пророчество библейское: кровь убитого отравляла и его. Не защитили повязки белые на голове: так у мертвеца испрашивалось прощение, чтобы не мстил, индульгенция за грех смертный!.. Здесь не просто сражались за идеалы, товарищ, — а бились с братьями...

Его перебил опять женский голос; женщина была пожилая, в темной косынке:

— А мой сын в ополчении был. Убит на третий день войны, но и сейчас живет... Хотите удостовериться? Приходите в ремонтные мастерские... На закате!

Со всех сторон сыпались свидетельства в подтверждение ужасов войны. И — ни намек на раскрытие ее причины! А еще люди ждали возможности заработать ставку в массовой сцене: расстрел автоколонны у стен древней крепости, исход беженцев по мосту через Днестр, панихида в память жертв террора у исполкома... Но батальные съемки на сегодня не планировались.

Режиссера Резонтова интриговали артефакты. Ведь сам игровой сюжет можно было бы и впрямь снять в студийных условиях, не заморачиваясь натурой.

С оператором на этой ленте он общался как никогда плотно. Тот «кланялся» с переносной камерой каждому «розану» на асфальте от разрыва — мог различить, где сработала мина, где граната. Знал оператор наперечет и руины, к которым еще не поспела рука реконструктора-застройщика. С трепетом оглаживал известняк с росчерком осколка мины или пули.

А режиссер Резонтов все пытался постичь: зачем сплавленному в горниле эпох народу потребовалось разделяться? Ведь по прошествии времени яснее ясного обнаруживаются тенденции к слиянию — взять тот же Евросоюз, прочие блоки, политические и экономические...

Православные убивали друг друга и, вполне возможно, еще будут убивать. Народ, как и прежде, — тело без разума, которое калечит себя? Что должно «стрелять» в фильме: частность лихая адептов сепаратизма или национализма? или персонажи подвига и человеческой справедливости?

Во время съемки ключевой сцены недовольный реакцией героя в момент убийства врага Резонтов закричал в мегафон исполнителю главной роли:

— Нет, я тебе не верю! Гнев в тебе спит!.. Бей его, иначе он тебя... Еще дубль!..

И тут неожиданно на крики режиссера отозвались из толпы за ограждением:

— Хочешь убить молдаванина? А кто придет к тебе в Москву чинить унитаз? Плитку мостить? Улицу мести... — Это был тот самый мужик чернявый с молдавским акцентом, рассказавший о полицейском распухшем.

Его поддержала женщина, у которой сын стал инвалидом от нелепой пули:

— Ни медицины, ни сострадания к людям... Как оторванные от всего мира сидим. Была б единая республика, может, и специалисты бы нашлись, поставили бы моего сына на ноги!

Толпа загудела, завелась:

— Да, были времена. Полные поезда в Кишинев едут: кто на учебу, кто на работу, кто в театры, в цирк, в зоопарк...

— А теперь сами, как в зоопарке, живем — с паспортами непризнанного государства.

— Кордонами обложены, таможнямы. Комендантский час на десять лет растянулся...

— А ведь перед войной планировался чуть ли не мегаполис: Одесса—Кишинев... Скоростное сообщение...

Старик припомнил:

— В царскую эпоху конки часов за десять до Одессы могли домчать. Паровозы — за пять. А сейчас на таможенные люди стоят столько же!..

— Приднестровцы вместе с молдаванами скинутся по России, ишачат за копейки. Поедешь на стройку, а тебя там и сбросят с крыши перед зарплатой!

— Гражданин режиссер! — вмешался рослый милиционер. — Разрешите навести порядок. Никто не будет мешать съемочному процессу.

— Нет-нет, — отозвался режиссер Резонтов. — Все это очень кстати. И вы присоединяйтесь, и вам слово дадим...

— Господин режиссер, у нас есть ребята надежные, вы только приказать извольте, — заговорил ослепленный мужчина чиновного вида. — И казаки, и пожарники проявили себя положительно. Стрелять обучат актера вашего, продублируют. — Он усмехался: — Тут у нас *реальных* героев хоть отбавляй!

— А мой сын в ополчении служил. Убит на третий день войны, но *и сейчас живет всех живых*. Хотите удостовериться? Приходите в ремонтные мастерские. На закате! — словно заклинание, настойчиво повторяла женщина в газовой косынке.

— Это наша городская блаженная, господин режиссер, Нина Федоровна. Не обращайтесь к ней, — стали пояснять режиссеру со всех сторон.

— Ее сына убили из гранатомета. Ничего от него не осталось, вот она и свихнулась.

— Сам ты свихнулся, черт толстомордый! — выкрикнул кто-то из толпы. — Нина Федоровна у нас святая...

Оператор все это снимал — по знаку режиссера, хотя режиссер ни в одном из своих фильмов подобную документалистику не использовал, был опаслив к отсебятине актерской, способной порушить конструкцию логическую сюжета.

Съемка продолжалась, но теперь казалось, что не только режиссер — вся труппа учитывала *голос толпы*, подчинялась невольно не прописанному в сценарии... Один из следующих выражений запечатлел «отрыв» артиста — а точнее, прорыв в сферы истинного переживания (после поучений-то народных). В сцене, когда герой «катается» по вспоротому от мин асфальту в обнимку с жертвой, а казаки пытаются его оттащить, бьют прикладами по костяшкам пальцев, чтобы ослабил хватку, — звучит реплика одного из казаков: «Врага в цель располосовал. Радуйся!» — и всё, герой должен был уgomониться. Но он словно с цепи срывается, *не по сюжету*: «Конечно: *мы* — всегда *правые*! И потому: бей *их*, мочи, иначе они — тебя!.. *Мы* — в конфликте с принципами, *из-за* которых тут и льется кровь!..»

Команды «Стоп!» не последовало; артист-казак не нашел иного, как процедить с прищуром в камеру, *не по сюжету*: «Всегда правые — да! Политика наша строится на этом!» — «Политика?! Которая и в век квантовой физики заставляет убивать!» — Герой тряс за грудки псевдоказака.

Съемка была остановлена командой «Снято!» Воспарение внесценарное двух актеров возымело эффект. Вся группа словно пробудилась. Так, исполняющий роль священника, именитый признанный, в бесчисленных сериалах засветившийся, позволяющий себе вольности многие: и «пройтись с утра по хересам», и к полу слабому весьма равнодушный, — на время порвал с увлечениями. Предложил режиссеру повенчать героя на вдове «им убитого». Режиссер переадресовал его с заявкой к сценаристу. Умудренный сценарист не возражал, считав контекст: народам продолжать и в будущем жить вместе на этой земле.

Уединившись в гостинице на берегу Днестра, режиссер просматривал отснятые материалы. Отключил бледные, как метки карандаша, голоса в кадре, которые будут переозвучены. Не беда, что монтаж рванный, стилистика клиповая. Но точность композиции — главное. Все по сюжету: в толпе прихожан герой и его «враг»... Крестный ход, хоругви поручают нести именно им... Солнце садится и восходит над землей приднестровской... Молдаване и русские вместе пьют вино, крестят детей, танцуют... Солнце заходит и встает над землей благодатной.

...И вот — мордобой; камера фиксирует оплеухи и ссадины, плевки и взаимные упреки. «Будет вой-

на!» — объявляет жене «враг»; жена забирает из рук спящего ребенка плюшевую зверушку... Колонна бронетехники катит по автотрассе среди полей и виноградных холмов, концентрируется на подступах к городу... Дальше — кадры войны. Граждане бегут, на секунды опережая рвущиеся снаряды... Первые жертвы... Под гусеницами танка просматривается плюшевая зверушка... Солнце, а затем и луна — сквозь свистопляску мин и снарядов...

И вот главный эпизод — поединок, — та самая сцена, которая и обозначила перевес в сюжете, будучи не прописанной в сценарии... Планы войны. Бои за мост. Бои за горисполком. Герой в каждом кадре. И каждый раз он убивает одного и того же — напарника по ходу крестному!..

Выключил флэшбэк. До финала — еще добрая треть игровых и общих планов... Режиссер Резонтов задумчиво ходит по номеру, его гложет дума: нет у фильма какой-то главной метафоры, веской и документальной, доказательной. Ведь фильм — это не просто цепь событий и драматических коллизий, это послание будущим поколениям, а не просто мастерски сработанный боевик. А у него выходит все же боевик... Да и название необходимо сменить; в нынешнем слышится что-то тривиальное, с патетикой: «Форпост».

Резонтов вознамерился разыскать Нину Федоровну, «местную святую»: что-то не давало ему покоя в ее словах о сыне, который *живее всех живых*. Но прежде ему нужно было побывать там, куда она так настойчиво его зазывала. Вместе с оператором Резонтов отправился в ту часть города у Днестра, где шли бои.

Предвечерние улочки уютного многострадального города, насчитывающего в своей истории ни много ни мало шестьсот лет...

Режиссер надвинул на глаза бейсболку, чтобы случайно никто его не узнал. Он внимательно всматривался в лица горожан. Люди, вкусившие запах пороха и крови, думал он, являются носителями *некоего знания*. Пускай причины войны, исторические и политические следствия остаются для них тайной за семью печатями, но пережившие войну — кто в подвале, кто на передовой, кто в роли беженца — знали то, что он, режиссер Резонтов, сидел сейчас познать методами искусства. Возможно ли это?!

Они вышли с оператором к парапету набережной. Солнце садилось. Вокруг тишина, покой, отдохновение. Спустились к реке, пошли по тропинке вдоль кромки воды. Молча.

И вот уже показались впереди развалины судовых мастерских. Место, окутанное легендами.

Вокруг — былье в человеческий рост (в местном климате бурьян и зимой не усыхает!) и удилища деревьев, натканные столь же бурно, — будто спе-

циально все устроено для пушей убогости и нарочитой разоренности здешнего речного хозяйства.

Оператор с переносной камерой все снимает: гильзы под ногами, часть якорной лебедки, ковши для добычи песка со дна реки, борт лодки, уходящее за горизонт солнце...

Анфилада производственных помещений, пронизанных жгучей лучистостью заходящего солнца, которое струится из расщелин. Иные клетки темны и черны; иные — освещены ярко, в зависимости от разрушения конструкций. Стены в следах от пуль и осколков.

— Странно! — воскликнул Резонтов. Эхо отозвалось: «но-но-но...»

— Почему Нина Федоровна упорно зазывала нас сюда?

Так и шли они — в помыслах о «святой» Нине Федоровне — от одного заваленного помещения, где стояли верстаки, ящики для инструментов, голые станины, к другому, где были следы крови на стенах и отметины от пуль.

— В этих каморах народу полегло не меньше, чем в других узлах обороны, — заметил режиссер. — Краеведы докладывали о том, что происходит здесь нечто потустороннее. Всякое там сияние и звуки... Жители бегут из этих мест. Боятся. А эта блаженная... Нет, что-то тут есть, загадка какая-то...

— Нам ее уже не разгадать. Фильм практически готов... Пора домой, — вздохнул оператор. Он надеялся на завершение променада: чего уж там с *планом* сквозным или финальным (*дарами* сподручными на дармовщинку), фильм и так вопиет, на документ смахивает; ну что, скажите, «выжмешь» из видов с кровью натуральной? — проще колер вогнать в водоемульсионку...

— Кто знает, — задумчиво произнес Резонтов.

Оператор семенил за режиссером, беря камерой *вопиющее* с ракурсов: стопка обгорелая «Боевого листка», словом и криком подвигающая на разрыв народный, телефон оплавленный, умывальник с краном расплюснутым, сейф, побитый пулями, сапог посеченный... Да, пернатые летят стороной и четвероногие не облюбуют ночлег *тут*, не говоря уж, что структура коммерческая *задействует* территорию. Никому и ничего от зоны табуированной не нужно. Только духам голодным войны ворваться с ветром, облобызать крови ляпы и сукровицу, играющую бликами в плоскостях опаленных, понукать гильзы, чтобы не ржавели на боку, и прокурлыкать песнь дивную: к тем, кто отдал себя молоху...

Наконец они добрались до углового помещения. Бетонный пол был чисто выметен. Оконные проемы с выгоревшими остовами рам давали в это время освещение, о котором киношники могли только мечтать: не нужно софитов и дымных завес... Режиссер и оператор оторопело смотрели на стену, где в

свете заходящего солнца оживало *нечто*... И оно питалось закатным солнцем и цветами, выставленными у стены, словно у подножия памятника, в горшках с землей и в банках с водой. И цветы были живыми, и вечерний свет — живым! И нельзя было оторвать взгляда от этой стены и от этого *нечто*. Но чудо длилось недолго: солнце меняло градус склонения над землей, лучи уходили выше, стена меркла.

— Вот почему Нина Федоровна говорила, что приходиться сюда нужно на закате... Абрис убитого выстрелом из гранатомета выведен на стене...

— Есть аналогии, — возбужденно заговорил оператор. — Например, отпечаток доисторической ящерицы на спекшемся песчанике... Или христианская реликвия: плащаница, хранящая Лик Христа... Или «снимок» мамонта, на срезе скалы, убитого при неизвестных обстоятельствах. Камень запечатлел это мгновение. И здесь...

— Я было подумал, что это какое-то странное напыление... — произнес Резонтов. — Нет... При закатном свете отчетливо видно — это будто Ангел взметнувшийся... Руки — будто крылья, и переломленный торс...

— Цветы свежие, — заметил оператор. — И в горшках политы...

— Я думаю, сюда не только Нина Федоровна приходит.

И тут они оба замерли: в помещение вошел старик с букетиком полевых цветов, знакомый из той толпы, которая окружала съемочную площадку.

— Я ведь когда-то работал здесь... — сказал он. — Здесь на стене — подобие иконы... И свечение особенное... В этом помещении и хранили, и плавил техническое серебро для корабельных нужд. Элемент светочувствительный. Разрыв снаряда сработал как фотовспышка... Вот и вошел сынок Нины Федоровны в вечность... — Старик поклонился и ушел тихой старческой походкой.

— Вот она — метафора фильма! — негромко воскликнул режиссер Резонтов. — Надо снять все здесь в самом естественном свете... Заключительные кадры... Разрушенные мастерские и *святая* стена... Нет, главная сцена не та, где герой убивает врага. Главная сцена — тишина и скорбь. Святая старуха, старик, горшок с цветами...

Оператор кивал головой.

— И еще надо доснять массовые сцены, — продолжал режиссер, — чтобы был крупный план тех, кто реально все это видел... Искусство требует образности!

Оператор задумчиво огляделся, словно искал еще чего-нибудь примечательного, что мог бы ухватить его объектив, потом спросил:

— Зачем нужна была эта война?

— На этот вопрос мы никогда с тобой не ответим. Мы же сюда кино приехали снимать, — усмехнулся режиссер Резонтов.

СТАЖИРОВКА

Хочу — следовательно, существую!

Артур Шопенгауэр

Падающие на кварталы мины — что тарелок оркестровых схлопы процессии погребальной, травящей по пятам. И это не сон психотика. Только успели миновать развилку, не покрыв и треть расстояния до больницы, — *началось*.

Армия конституционная атаковала. Не щадя никого и ничего. Справа замелькала окраина одноэтажная, вжимаясь в себя; слева и впереди — в новую реальность — болваны пятиэтажные микрорайона «Ленинский».

— Черт, черт!! Мама родная!.. Михалыч, давай во дворы! Так мы никуда не доедем... — Но ее крик заглушил раскат. Мина.

Карбюратор разворотило осколком. Водитель погиб, уткнуться успев колесом о песочницы борт. Старик под маской кислородной повалился, ломая кости и дух испуская — на лафет скамьи «скорой помощи». Окна изошли калейдоскопом, не разглядеть сквозь, — только вопли вопиющие и снарядов по свист... Сорок один градус выше нуля — однако озноб и в трахеях иголки, будто «минус» предельный. Стынь полярная конца июня 92-го.

...С чемоданом белым, на котором сердцем пульсировал крест, пригibasились к фасадам панельным, забегали в подъезды на передышку — по направлению к больнице: сообщить о трагедии *нужно* с водителем и пациентом-инфарктником... Врач-кардиолог, брюнетка ладная за тридцать, бурная и порывистая, влетающая на серфинге — с волной взрывной — в сердце мужское (сказал бы поэт про нее), и хирург-стажировщик двадцатипятилетний...

— До конца обстрела остаемся здесь! — Озарение опахнуло лицо *ее*, смахнув градины пота ледяного.

— Точно, — опускался на бетон площадки лестничной *он*, глаз не сводивший со старшей; чемодан задвинул под ноги, чтобы не мешал жильцам сигать через ступени. — Быстро это не кончится! — Акцент выдавал в нем молдаванина.

Врач с вызовом бросила, чертыхнувшись:

— Ваши штурмуют город, а ведь в нем добрая половина молдаван! Не хочешь к своим — пострелять?!

— Вы же сказали, — перекрикивал канонаду Петра, — здесь всех намешано. И «нашим» и «вашим» достанется! — Усмехнулся. А Галина поняла, что сморозила глупость. Но гнев не сменила:

— Можешь к *своим*, я не против. Лекарства раздам...

— Вас не брошу! — сторонился огородников бранящихся с ведрами-граблями (война захватила в

страда). — И, во-вторых: ориентируюсь плохо на местности — пятый день на стажировке — куда ж бежать?... За вами, как на привязи... — в этом уже сквозило игрище: сердце без любви — кимвал бренчащий!..

Где-то совсем близко застрочил пулемет. Очереди автоматные в ответ. Глухо ухнула граната. Посыпались стекла...

Он был из Кишинева, учился на четвертом курсе мединститута. И не гадал оказаться лицом к лицу *со следствием*, причину же наблюдая в шествиях под триколорами с головой бычьей: дефилировал в колонне возбужденной по изволению деканата, случалось. Но и сепаратисты — не промах: у Арки Триумфальной сзывали всех уязвленных лозунгом «Чемодан—вокзал—Россия!» — вот перебазировались в анклав на Днестре. Национализм и сепаратизм — точат-грызут тело государства, что опухоль раковая.

— Не пожалей! Сам-то определяешься — *политически*?

Он искал ответить нестыдно (чтобы акцент не зашкаливал), но призвал Гиппократ. Раненый: заносили, волоча кисель кровавый с ноги, — а тут Ангелы в одеждах и с чемоданом! На третий этаж поднимали. Подросток квелый взбирался позади, трепеща разрывов и прижимая к груди конечность, с колена ссаженную, не легкую (приходилось Петре ампутировать ноги мужские на втором курсе: тяжелые). Отпрыск не расставался с «наследием» отцовым и дома, когда того уместили на диван. Галина вела: заглянула под веки горюну, замерила пульс, дозволила Петру жгут, вколоть, перевязать. Вручив хозяйке капельницу, успокоила ее *сурово*. Потом к пацану. Вырвала ногу, приказав в мусоропровод ее. Петря вышел на площадку, однако спускаться в камеру не стал. Прислонил к трубе стоймя в туфле «Зориле» (подумал: *коренные* и ходят ныне в обуви местных фабрик, пришлые избирают другие — маркер «кто есть кто?» с началом междоусобицы), — рядом с бутылками из-под кефира пристроил. И — к начальнице.

Она подвижна была выполнять миссию — в доме по соседству, гонец чей не замедлил явиться. «Русских лечим, затем молдаван, слышал, *практикант*? Шучу-шучу — всех, покуда лекарств хватит! В сторону вариации!..» — и, хлопнув фельдшера по плечу, к порогу маршировала... Обыватель же замкнулся по ячейкам, голову — в крыла: рушащийся карточно мир! Метался по комнатам люд, книг кипами и матрасами проемы баррикадируя... Криз психический!

Не только руки-ноги выдирать с ревом из объятий ревностных приходилось. Погружались по локоть в утробы, осколки извлекаая.

— Давай, давай! *Заходи* без проволочек! — мастерея отводку крови из занавески и кастрюли, подсте-

гивала Галя напарника над раненым очередным. — Зажимы-пинцеты — по обстоятельствам!

И он постигал: пульсировали в пальцах стажера органы *живые*: слезились или «вскипали» текстурно. И до сердца дошел, когда оно в рубцах сбилось с ритма. (Торговка дородная доставлена с кулем в обнимку; куль и упредил потерю крови, пережав ток.) Но *запустил*, с адреналином! Умный кот! (Петрик — кот Галин из детства.)

— Ты не ответил: *наци городской*? — буравила его, отстраняясь от уж воскресшей, у коей осколок тащи-ли из груди. — Все вы: *наци*!

— Вам, Галина Аркадьевна, лишь сепаратисты по душе?

— А все же? — нависала *необычная* женщина над молдаванкой.

— Сватали в националисты... А когда-то главным предметом была история КПСС: без этого «зачета» ни на какую стажировку...

— А сейчас?

— История Молдовы — преемницы Империи Рима!

— И талдычит ахиною сию лектор бывший по истории КПСС?

— Как знать... — Петря окунал руки в таз, вытирал. Брался за чемодан мрачно. — Приднестровская республика *тоже* ведь... Зачем зажимают эти звезды?!

— *Наци*. И козе понятно! — взирала на Петрю, покоренная правдой его... Зов профессии их вел — под знаменем и в униформе не поймешь, *каких* градаций цветовых... Его халат, как и ее, в зигзагах крови венозной и сосудистой; ядовито-желтый фурацилин в напряжении ляпов не уступал; марганцовка дробинами по полю; и *черное на белом* — уголь активированный... Впору с Малевичем сразиться!..

Близкие Тетехи Сисястой (во время операций давались и прозвища больным) заклинали их отдохнуть, поесть. Недосуг.

Роженца; внезапные схватки; выманивали без инструментов *жизнь* на свет, солдата, нет, мама родная, двойню! Так и есть — мальчик и девочка!.. «Божья матир-заступница, шоб я так богато жила!..» — причитала свекровь. Свекор же, ошастливленный в квадрате, испросил имена — Галинка и Петрусь?.. Цэ дюже добрэ!.. И одарил комплектом халатов синих. Если б не чемодан с крестом красным, они б напоминали ремонтников техники бытовой, в ракурсе обстоятельств — спецов реальности становящейся, на все руки-ноги-животы починителей. В то время, как прочие русские, украинцы, молдаване убивали друг друга.

Девятнадцатого июня в 17.30 армада хлынула с окраины городской: танки и бэтээры, самоходные установки и минометно-гаубичные батареи. Продвигались к исполкому и мосту через Днестр, изре-

шечивая огнем здания жилые и заводские, людей, деревья, кошек и собак, песочницы и качели... Явь... Время-место замесилось едино пулями пронрывающими. *Вещество существования* вскинулось вспять. Защитники целостности государства — и такие же сепаратисты остервенелые... Война всех против *всех*: сердец-рук-ног-*осознаний*, сложности жизнетворящей — и катка!.. «Пляска смерти», «От колыбели до могилы»; «Капричосы», «Осенний канныализм», «Герника» — слух-зрение ошпаривает предчувствие грандиозное...

Вторую ночь они коротали в квартире онкологического. Хозяйка, изможденная не менее супруга, умолила. Пораженный опухолью на последней стадии был одним из лидеров анклава провозглашения. «Моя фамилия Штырбу: Беззубый — помолдавски! — пробовал он улыбнуться. — Не все мы акулы национализма, как видите!..» Петра промолчал. Галя ответила: «Политики понятия не имеют — *за что* ратуют!..» Ей вторило убранство жилища, — *как у всех*: два кресла тощих, столик журнальный, сервант с коллекцией рюмок (в одной при всполохе-сотрясении тренькает медалька-шоколад окаменевшая), гравировка «Есенин» над телевизором, сувенир «Парусник» — у изголовья... Улучив, когда Петр провалится в сон, она вколола рыцарю идеи (под отблеск шара огненного, небо чертившего) ту самую дозу. Освободила пациента в разрез с заповедью клятвенной. Узрела душу родственную: мятежник!

Пыталась и сама ввериться морфию, сна ни в глазу... Призрак насмешливый — мать — из Брянска родного явилась. *Куда-то* звала; бунтовщица и нигилистка дочь соглашалась, хотя с ногтей молодых независимость отстаивала. Дипломированный психиатр; а близкие видели в ней педиатра. И не по распределению приехала в городок на Днестре, лишь бы *от* уклада-назиданий... Беглая! Ход неординарный. Бендеры в переводе с турецкого: «Я хочу!» Своевольцы здесь с *миссией особой*: каждый сам по себе — хранитель-искатель «Я», вместе — оболочка плазменная Ядра!.. Жизнь обломала крылья: перекалифицировалась в кардиологи-анестезиологи; психолог в совке, эко диво: больные пьют лекарства группы типовой... Женщина в состоянии пограничном, заключила про самое, теряя мысли нить, в бездны глушь свою *от* канонады за окном. Рядом стажер в кресле и пациент почивший... Ей снилась нога, обутая в кроссовку «Адиас», давящая чью-то кисть, взрывом оскопленную, сжатую то ли в кукиш, то ли в кулак... И барабаны, барабанный бой по пробуждении в голове... И звук струны лопнувшей — с лучом первым солнца...

И все под утро третье войны из жителей осажденных насунулись из укрытий. Обвыкнув с мыслью о *снайпере* в окне слуховом чердака пятиэтажки на-

против, или вон там, в ячейке выжженной общаги, *и еще* — в башенке универмага разграбленного. И лучше места эти обходить, торить пошагово траекторию историческую — на хлебозавод, на рынок... Миропорядок *от* нелюдей в камуфляже. Жуть, мрак, паника в сердцах; чтобы помимо обстрелов ночных — и дневная остратка: и на свету тяжелели б мышцы, не смели живые носа казать на воздух (можно ли называть свежим *его* — упитанный гарью и кровью забродившей?), без газа и воды *по ячеям*, знали б место, завидуя мертвецам!..

— Семеновна, глянь, не сосед ли твой брюхом кверху у столба? В морге уборщицей работала, чай не стошнит! — крик во дворе.

А в ответ:

— Федот, да не тот. Нашенский с пятницы дома пьяный дрыхнет: о войне не ведает! А этот похож: и лицом, и росточком...

— Шел человек — и вот те пришел: на тот свет!

— Эх, хватануло: поперек живота... вся кровушка в песок сошла... аккуратненький такой... — *еще* голос за окном.

— Мины образца нового: деревья, как лопух, косят! Апробация!

— Семеновна, давай яму рыть! Вороны лицо испортят. Кончится свистопляска, разберут: *кто и что?*

— Кончится ли? Так и жить — в подвале: и ешь, и сри в углу одном!.. Или об землю рожей... Вот и на Игната выросла лопата!..

— Семеновна, у тебя не язык, а бритва! Похлеще мин!!

...Предельность бытия. Наперекор стихии, разводили костры в колодцах дворов люди, делились хлебом и информацией (ипостась *насущенного* в осаде!). В палисадниках хоронили мертвецов. И тела водителя «скорой» и старика-инфарктника прибрали. В царстве неопределенности ковалась «форма форм» — *Volo ergo sum!*

Занимали *они* контору брошенную ЖЭУ в пятиэтажке жилой, куда и доставляли раненых с микрорайона. Несли сюда и матрацы, простыни для перевязки, воду, съестное... Размещались больные в коридоре, вдоль стен на полу (глуше, защита от пуль) — мужчины, женщины, дети, старики, — труба бед нетолченная и в обстрел и в затишье. «Суки! Знали же, что на город армада прет, разведка — лучшая в мире!!» — «А вот немцы в Отечественную нас в села выпроваживали *долго* до красных наступления!!» — «Красные, белые, коричневые, сейчас *начнется!*» — «Свобода без жертв не обходится!..» — «Нам и дали *ее*: чтобы мы — их, а те — нас!!»

Вечеру третьего дня поцеловались. Она поцеловала его. Он не оробел. Целующиеся врачи в халатах

синих, точно работники научные после череды испытаний изнуряющих, сцена сублимная.

Петря ощутил: ему не жить без *нее*. А Галя — она не сходила с ума. Петр был прекрасен, человека к жизни возвращая, «весь как Божия гроза...» — манкое, колдовское, стремительное в нем. Латал не раны кровоточащие, латал мироздание, брошенный в горнило сам. Восхитилась! Эти его пальцы тонкие, удерживающие осколок извлеченный, и словно цветок — к ней...

— Так, Петр, прости... Черт!! Не было ничего! — отстранялась, когда и он, преодолев условность, шел *от себя*. — ...с тяжелыми управилась, завтра средней тяжести... — Желая скрыть *свое*, желая замкнуться. Ее бездна *уже* поглотила его, но голоса бархат, улыбка, мечта страстная... — Сообщили из больницы, — красок в тембре убавила на фоне всполохов снарядов дальних, — помочь не могут: ни лекарств, ни инструментов... микрорайон оцеплен... — Вещала гипнотически у окна простреливаемого. Заключинала Войны Пламя, «на земле весь род людской». Бес ликовал в ней, преодоление пел — *всего и вся*, вне наций и религий!.. Отошла от проема, взглядом ошпарив, — и стекло в створке изошло паутиной *из-за* пули шальной.

Петря онемел. Боялся акцента и высокопарности. Сознал: война и скрежет зубовой не затмили *ее*, потрясающую, обвиняющую с размаху в узости политической, а потом вдруг и целующую его... Энергией взрывов утешалась любовь его: «огонь лечит», «огнем природа обновляется»!.. Кровь и кровь всюду (в гортани привкус *ее*), и канонада... — *и это* будило его. Хотелось, словно деревенщику, горланить-танцевать хору пламенную. «Как в пословице *от* Семеновны: кому война, а кому — мать родна! Будто специально *для нас* — национализм и сепаратизм!.. Сотворили волну, зачерпнули нас в объятия!.. От взрыва исполинского — *волна!*..» Таки полыхнуло. Бомбардировщики пронесли низко, сбросили заряд на мост через Днестр. *Свято* небывалое — вширь окна, от края горизонта и до края. И Гриб — разросся бахромчатый на Ноге вскипевшей... Любящему сердцу многое открывается!..

Представители армии конституционной уже прочно закрепились на «Ленинском», установили контроль гражданский, вывесив и над крыльцом ЖЭУ триколы с головой бычьей. В других же секторах города, где исполком мятежный и мост взорванный, шли бои.

Тактика быстрой войны успеха атакующим не принесла, в апатичности пребывали и подшофе, *из-за* бессмыслия манифестов, отступления-наступления волн... Галине разрешили за увечными присматривать. И кто-то из вояк забредал к

ним — подлечиться (с серьезными же lamentациями в Кишинев). И Семеновна в халате синем, уборщица из морга, вызвалась в милосердия сестры. Бывалой закалки женщина; без *нее* не сдюжили бы молодые. И воды заготовит, и чуть свет у крыльца костер, каши-киселя сварит, «утку» обезноженному поднесет и думу тяжелую отведет. «Как теперь, мать, жить-быть под румынами?» — «Не так страшен враг, как его малюют, друзей опасайся... Румына повидала я на веку: отчество в паспорте изымут; в школе молитву «Татул меу» повелят; активисты Списки оформят: кто и *за* кого?.. Незнайка — на пляжу, а знайку — в суд ведут!.. Куда им, тараканам усатым, против нашего: авось, небось да как-нибудь...» — «Румыны, демократы, советы-коммунисты, а я просто жить хочу!» — «Хочу — половина могу, милоч!..»

В госпитале самодеятельном не доставало элементарного, хотя и пополнились ресурсы из кабинетов врачебных школ, садов детских. В подсобке обнаружился гипс, Петр накладывал повязки. Антисептик — раствор извести хлорной. Наркоз — самогон из арсенала Семеновны. Резекцию сустава предпринял не однажды он, ампутацию предотвращая. Боролся за каждую Тела пядь, — вне нации, *единство жизни* утверждая. У одного молдаванца военного после обработки раны (осколок в плечо, чуть выше — снесло б голову!) проступила татуировка — Солнце; хирург орудовал иглой над *расколотым* с тщанием, полагая, что вызовет и *его* из Небытия. «Только Солнце и осталось в Молдавии!..»

Жизнь входила в некое русло. Галина и Петря — как муж и жена. Хотя обычно в песнях — война-разлучница! Петря и ревновал Галину, настаивая отказываться от приглашений офицеров «подлечить» или «посетить танцы в обители скромной», в школе средней, как и ЖЭУ «переформатированной». Галина пресекала домогательства, ведь оказывала помощь женщинам, гулявшим с солдатней. «Ну, Петр, неужто думаешь, уроню себя; я гордая, мне и тебя хватает с макушкой? — отвечала на упрек неинтеллигентный по поводу отлучек. — Измерю давление полковнику, он вчера жаловался, попрошу шприцов для госпиталя — и обратно!.. Аль я не я и воля не моя?!» — смеясь, подражала Семеновне.

Что ему оставалось? Она была *из тех*, кто и «в горящую избу войдет». Помнил из литературы русской (в молдавской же: мужчины освещают сердцем путь!). Надеялся. Погружался в *мир заботы* о раненых; а их-то уж можно было всех «выписывать», и с доставкой горемык по адресу — тут Семеновна (на спине, не иначе) во сто сил лошадиных: *слона на ходу стреножит*... Такие они, русские, живущие на окоме имперском!..

У Петра был припрятан пистолет. Вояки «теряли» их то тут, то там, меняя на спиртное-наркотики. Дети — и те играли в затишье настоящими. Взял чемодан, на котором пульсировал крест, и — за Галей, о слежке не предупредив. С замиранием взбежал на крыльцо широкое школы. Под навеса козырьком за партой бились в «Чапаева» сержанты. В жилище офицеров часовой не пустил фельдшера, усмехнувшись. Петра сел на бордюр у джипов с ляпами «зеленки» по кузовам. «Какой такой пациент особый?! Пьяные адъютанты будут говорить скабрзности, на жестах ломаных пояснять... Изнасилуют!.. Чертова баба; и чертова Семеновна с премудростью своей. Что означает *это*: я не я и воля не моя?..» — вскочил, нащупывая пистолет в кармане халата, направился за угол здания.

«Еще вчера я благодарил Бога — за эту женщину, дерзкую, умную, нежную! Я благодарил войну... и вот плата!!» На чемодан громоздился и — к трубе водосточной; ступал по карнизу — к «покою» полковника, кабинет директора школы облюбовавшего.

Окно зашторено, но фрамуга открыта, Петра видел почти все — *по ту* сторону. Галя на стуле, полковник на диване разбросался, руку на тумбочку облокотив. Замеряли давление.

— ...Вы же образованный человек — в звании. — Галя хранила свой тон, где-то *с насмешечкой*. — Кто дал вам право судить? Целый регион объявлен преступным, а ведь здесь люди — они *иного* сорта? Их не кормила *ваша* волчица итальянская?

— Кардиолог, слушай пульс, что ты понимаешь в политике!

— Я по необходимости кардиолог. Я — психолог...

— Хм... Мне нужен *другой* врач... А может, хе-хе, ты агент?.. — Полковник говорил через силу, был заторможен в реакциях. Несмотря на браваду. — И что за диагноз?

— *Военный мещанин* — вот диагноз!.. Утрата перспективы ведет к последствиям. Миров-проект — узко-национальный, как и широко-экспансивный — на штыке, — обречены!

Полковник рвал пуговки на воротнике:

— Ваши ценности: народы, нации, люди — *вещи* среди вещей!..

— Вы конституируете законченные миры. А задача — помочь расширить горизонт, осуществить выбор!.. И потому не рыпайтесь, полковник! — Галя опрокинула на вояку стакан с водой. И за шприц наполненный. — Вперед!!

Петря повалился в газон, подобрал чемодан и — к входу парадному. Слышал и видел то, что и стало расплатой за ночи-дни перевертыша военного. Шел на поводу у женщины прекрасной.

— Черт! Всем на месте, иначе я ему антифриз загоню!! — горели ее глаза; как и тогда, две недели на-

зад, когда она... но на этот раз грозила, если не выполнят требования *ее*. Шприц — у шеи полковника: игла впивалась и выныривала, оставляя бороздку на коже. Сам же чин седовласый — в дверях школы на полусогнутых: за воздух цеплялся; глаза — что у быка на флаге государственном. — Черт!! Теперь: двадцать шагов назад, или «маршалу» вашему не жить!! — Галина Аркадьевна, понукая командира молдавского, как щитом прикрывала им себя. — Живо, ключи от машины... Открыть!!

Двое за доской игровой побежали исполнять, а другие, отмеряя эти «двадцать шагов», пятились, не понимая в точности по-русски.

— Петр, в машину, черт!! — Она кричала *ему*, угадав в дымке знойной *его* присутствие с пистолетом вскинутым. — Кому сказала, кот хитрый, — полезай! Я отныне твой Новый Рим и Империя отдохновения. Иначе я *его* поцелую!

Петря постигал «план»: похитить полковника. Но это *не его*, фельдшера, *партия!* Он медлил, переводя ствол от «чапаевцев» ошарашенных — к Гале.

— Пошевеливайся, хирург! Больной в состоянии предынфарктном, нужна госпитализация срочная!

«Э-эх, я не я и воля не моя!» — Подхватил обмякшего (впрямь с давлением проблемы у того; и пятно в паху фиксирует глубину, как на атласе школьном), втащил в салон. Галина — за руль. Адъютанты реагировали в какофонии. И Петря не удержался: его выстрел прозвучал на манер вороны карканья... Никто ни в кого!..

Пересечь блокпост на повороте в километре от школы, а там вояки матерые, не в пример полковника ординарцам. Вперед, пока информация не дошла!.. По машине со штандартами не стреляли. Так и рассчитала («Ну и женщина: добыла языка-штабного!»), не собираясь привлекать к операции стажера. Увязался. Думала: поматросит и бросит... *ан вышло!*..

...Полковника транспортировали прямиком в реанимацию. В Кишине не довели бы (судя по пульсу), помощь неотложную оказали в логове сепаратистском, принудительно. Оклемався когда ж, допросили из Конторы. Но без пристрастия, одного ведь они все поля ягоды, уважающие друг в друге ястребов-беркутов-коршунов, чтящие звезды (нравственный закон!) не в Небе, а на погонах.

Галя и Петря стали вместе жить — в Кишиневе. Стажировка в анклав взрывоопасном хирурга и психолога новообращенного закончилась. Галя получила орден. И Петря получил, но никому его в городе родном не показывал. Разве что полковнику, через годы с вывихом сустава попавшему на прием к нему. Полковник к тому времени спиртным не злоупотреблял, из армии уволился, генералом не став. А история государства Приднестровского набирала обороты. К чему все пришло, тема особая.

Дмитрий Ефремов

БЕЛЫЙ АНГЕЛ

Народ ужасно завистлив. Особенно если рядом кому-нибудь везёт: у кого от радости искрятся глаза. А чужое счастье, как известно, многим спать не даёт. Однако мало кто задаётся вопросом, чем приходится порой платить таким «счастливым» людям. Одного такого звали Дороня Ярославцев. Был он обычным, немного простоватым мужиком. Происходил из когда-то крепкой казацкой семьи, а стало быть, всё умел, не боялся жизни и не унывал.

Так вышло, что после революции стали забывать о своих корнях, умалчивать. Целее будешь. Но фамилию с лица не сотрёшь. Нелегко пришлось в те годы казачкам. Сколько тогда настоящего народа перевели... Не пришлось ко двору, стало быть, новому строю. А многие перебрались на другую сторону Амура, в Китай.

А вот Дороне повезло. Все беды и несчастья обошли его семью. С юных лет он овладел всеми премудростями нелёгкой деревенской жизни. Брался за любую работу, не спрашивая о цене. А в заработке ему всегда фартило. Красавцем он не был, но жену подобрал себе на редкость удачно, а чем заворожил местную красавицу, так никто и не понял. Подрастал у Дорони сын: под стать матери, такой же ясноглазый и на редкость смыслённый. Без ума был Дороня от своего сына и гордился им, как мог. Жизнь его текла размеренно и спокойно, как речная вода. Зимой он часто отлучался из дома: заготовка леса, рыбалка, охота. Летом тем более — работы хватало. Везде Дороне непременно везло. Не было такого, чтобы он приехал пустым домой — не сидел на месте. Был он первостатейным плотником. Переняв от отца ремесло, он освоил все его тонкости и мог за просто срубить дом, хоть в чашку, хоть в лапу. От такой работы вскоре обнаружилась его слабая черта: Дороня частенько бывал под мухой, поскольку был нарасхват, а от дармовой выпивки отказываться не умел. Ну, а после того, как он выиграл мотоцикл по лотерейному билету, он и вовсе стал первой знаменитостью на селе.

А сам Дороня смеялся: «Повезло мне, повезёт и другим».

Каждое утро он сажал в седло своего Андрейку и заводил свой мотоцикл. Сын был в восторге, а с ним радовался и Дороня, вместе со своей красавицей женой.

Так они и жили на берегу батюшки Амура, в старинном селе, собирая по крупицам радость от жизни, и любили друг друга, как умели.

Их дом стоял немного на отшибе. Достался он Дороне по наследству от родного дядьки. Дом был просторным, добротно сложенным из прогонистого

кедра, и за сто лет нисколько не пострадал. В большой комнате, на потемневших от времени стенах, висели портреты всех, кто жил в нём когда-то. За стеклом, в аккуратных рамках, казалось, они всё ещё жили, и все, кому приходилось бывать в гостях, всегда удивлялись тому, как заботливо следила молодая хозяйка за этими фотографиями.

Тут же на стене тикали старинные ходики с длинной цепочкой и гирьками, а в углу стоял добротный платяной шкаф, сделанный из маньчжурского ореха. Рядом кованый сундук с нехитрым добром, а у окна такой же крепкий дубовый стол. По праздникам хозяин регулярно скоблил его циклями и натирал воском. От этого сидеть за ним и пить чай из самовара было одним удовольствием.

Но особой ценностью в доме была икона. Правда, она была не совсем обычной. Стояла она, как и положено, в правом углу, на полочке, а изображён на ней был крылатый белый ангел, держащий свои руки над Младенцем. А вот самой Богоматери там не было. На старой, потемневшей от времени доске ещё были написаны какие-то витиеватые буквы. Понять их Дороня не мог, но про саму икону говорил, что написали её с душой. Во многих местах она потрескалась, краска с краёв отлетела, но ангела своего Дороня берёт, хотя и не молился. Была у этой иконы своя история, и при случае Дороня любил рассказывать её добрым людям.

Когда-то на берегу Амура красовалась деревянная церковь. Всем она радовала душу и взоры. Блеснёт, бывало, купол на вечернем солнышке отполированной до блеска осиновой кровлей, натёртой топлёным пчелиным воском, и выбьет слезу гордости и умиления за красоту рукотворную. Но сменились времена, ушли в прошлое истинные ценности. Не по вкусу пришлась и церковка на берегу, где жила старница казаков.

Сначала срубили кресты. На глазах всё дело было. Плакали даже мужики, но стерпели, надеясь, что вернётся старое и доброе время.

Стала церковь клубом, где собиралась новая молодёжь. Не долго простояла она. Для хозяйства брёвна понадобились, так вот и попала на глаза чиновника. Не помиловали.

— Кто ломал, того уж нет, — говорил Дороня. — А батя мой под алтарной вот, нашёл. Кто-то спрятал, сохранил. Теперь мне досталась в наследство. Хотя проку в ней... — смеялся Дороня и уносил реликвию обратно в свой угол.

Однажды попросились к нему переночевать. Это были геодезисты, бродившие тогда по тайге, что-то выискивая там и замеряя.

Гостям Дороня всегда был рад, было о чём поговорить, к примеру, о тайге или о городе. Дом был большой, места хватало для всех.

Мужики тихо разулись на веранде, там же побросали свой скарб. Сапоги, по настоянию хозяина, поставили к печке. Гостям отдали детскую, а Андрейку отправили к бабке.

Вскоре на столе появилась цвета слезы водочка, и потекли разговоры. Сидели допоздна. А когда в деревне отключили свет, зажгли свечи, которые Дороня лил сам из белого воска. От этого дом наполнился приятным ароматом плавящихся свечей и загадочным мерцанием огня.

Говорили о жизни. О том, как страдает природа, пропадает зазря зверь под колёсами машин, скудеют реки и мельчает народ. Как быстро стареет село, а молодёжь неудержимо рвётся в город.

В глазах гостей Дороня был героем, потому что жил там, где родился, где жили его предки, и зарабатывал на жизнь честным трудом. Дороня кивал, отмахивался от похвалы и всё больше хмелел от выпивки. В доме, кроме мужчин, уже никого не было; хозяйка, не желая мешать мужским разговорам, ушла ночевать к сестре.

Дошла очередь и до оружия. В этом хозяину похвастать было нечем. Зато у гостей на этот случай оказался номерной карабин военного образца и дробовик с вертикально расположенными стволами. Такие ружья были большой редкостью в районе и только начали появляться у людей. Для Дорони это был первый случай, когда он брал в руки такую вещь. О новом ружье он и не мечтал. Заглядывая в стволы и удивляясь хромированной, отполированной до блеска поверхности, он не мог скрыть восторга от прикосновения к оружию.

— Хорошая вещь, — вздыхал Дороня и качал головой. Хозяин дробовика улыбался и шутил, мол, к такой бы вещи хозяина настоящего.

Потом снова чокались и уже говорили об охотничьем везении.

Вдоволь наладившись холодом металла и теплом орехового приклада, Дороня деликатно отставил дробовик в угол. Тут-то и заметили реликвию, и приглянулась она одному из гостей. С позволения хозяина гость взял икону в руки и стал тщательным образом рассматривать изображение, поднеся его ближе к свету.

Освещённая тусклым мерцанием свечи, икона выглядела ещё больше притягательной. От неё исходил какой-то особенный, внутренний свет. Казалось, что ангел сам светился в полумраке старого дома.

Поражённый работой неизвестного мастера, парень долго ходил с иконой из угла в угол, расхваливая Доронину драгоценность на все лады. От этого хозяин дома ещё больше разомлел. Выпили и за икону. Потом решили ложиться.

Поставив ангела на своё место, Дороня взял дробовик, чтобы отнести его и запереть в кладовке вместе с карабином. В этот момент и произошло то са-

мое, обо что споткнулась вся его жизнь. Хозяином «вертикалки» был тот самый парень, что расхваливал икону. Неожиданно он предложил обменять своё ружьё на икону. К тому времени Дороня уже туго соображал. В его затуманенных глазах всё уже плыло куда-то. Он махнул рукой, вроде как согласен. На том и разошлись.

— Какой прок в старой доске, — в полубреду размышлял Дороня. — Отжила своё. А ружьё — вещь необходимая для жизни. В тайге без него не обойтись.

С этими мыслями он и уснул, даже не раздеваясь.

Рано утром гости собрались. Наскоро попили чаю с молоком и, попрощавшись с гостеприимным хозяином, ушли на автобус.

Когда вернулась жена, хозяин опять спал: вчерашняя выпивка всё ещё шумела в голове. Обнаружив, что угол опустел, мужа будить не стала. Там же, в углу, стояло новенькое ружьё. Посидев тихо за убраным столом и поглядев в окошко, откуда светило утреннее солнце, она только вздохнула о том, что произошло. До этого случая не было такого, чтобы муж продавал или уносил из дома что-то без её согласия. Она почувствовала, как в комнате сразу стало уныло и неуютно, словно что-то безвозвратно ушло из стен старого дома.

Проснувшись, Дороня долго извинялся перед женой. Он и сам понимал, что сделал нехорошее. Как мог, он постарался успокоить её, расписывая достоинства нового приобретения.

К середине того же дня уже всё село знало, что Дороне опять неслыханно повезло, что за старую гнилую деревяшку он приобрёл ценную и полезную вещь. Даже участковый нашёл время, чтобы зайти к везунчику. Покрутив шутовину и оценив её по достоинству, он посоветовал поставить оружие на учёт, с чем Дороня конечно же согласился.

Мужики заходили чуть ли не каждую минуту. Собака во дворе охрипла, а самому Дороне уже надоело прятать вещь за печку, и он повесил ружьё на видное место.

Оставалось как следует обмыть приобретение, того требовали обстоятельства. Позориться и прослыть скупердяем Дороня не хотел. С ним и так не всякий ходил на охоту, из-за того, что он во всём помогал жене по дому и даже носил из колодца воду. А тут такое дело. Нельзя было упасть лицом в грязь. Да и как не испробовать ружья в деле. Дом трещал от гостей, слава богу, родственников у Дорони хватало.

Опорожнив немалую ёмкость с бражкой, решили проверить ружьё на бой. Всем не терпелось увидеть, как бьёт вертикалка. О хромированных стволах тогда ещё мало кто знал.

Выбрали место, хорошую поляну за огородами. Место безлюдное. Сразу за поляной пробежала речка, а за ней круто вверх уходила сопка, густо порос-

шая старыми липами. Эту сопку любили все союзненские. У её подножья всегда было тепло, особенно ранней весной. Собирая солнечные лучи, словно линза, сопка отражала всё тепло на село, а зимой надёжно защищала от продувных ветров, что шли вдоль реки.

В запасе имелось три патрона: пара дробовых да один пулевой. Решено было, что первым будет стрелять сам хозяин.

Отсчитав от мишени двадцать шагов, присмотревшись на секунду, Дороня быстро прицелился и выстрелил. Гулкое эхо прокатилось по склонам сопки, вызвав бурю восторга у собравшихся. Выстрел был что надо. Почти в десятку.

Потом кидали в небо картошку и долго смеялись над мазилами. Облили стволы из гранёного стакана, а после потянулись в дом допивать остатки весёлого зелья.

Когда солнце уже скрылось за рекой, гости незаметно распозлились по своим домам. Угол теперь украшало новенькое ружьё.

Захмелевший Дороня посиживал на крылечке и играл с собакой, дразня её своими сапогами. Он был, как никогда, счастлив этим хорошим вечером. Ему и в голову не пришло, что рядом почему-то нет Андрейки.

Сначала заволновалась жена. Обойдя всех, у кого сынишка мог играть, она растормошила мужа.

— Да куда ж ему деться? — успокоил её Дороня. — Найдётся. Не маленький уже. Скоро в школу, а ты ищешь его по всей деревне.

Но через час, когда стало смеркать, заволновался и Дороня. Что-то вдруг тяжёлое навалилось на него. Хмель прошёл, и он увидел мир совсем другими цветами. В сумеречной тьме он ощутил невыносимую тревогу за сына. Вооружившись фонарём, он обошёл все места, где мог быть парнишка. Обошли все дома: Андрейки нигде не было. Пришлось поднять по тревоге заставу: пропал ребёнок.

Мальчика нашли только утром, у подножья сопки. В том месте речка Манжурка особенно близко подступала к ней.

Он лежал на поляне, сплошь усеянной спелой красной ягодой. Пуля попала ему в висок, когда он, по-детски ползая на четвереньках, собирал в маленькое ведёрко землянику. В то лето её было особенно много на солнечном склоне. В маленьком кулачке было раздавлено несколько спелых красных ягод. И вся поляна вокруг, как есть, тоже была красной. Только уже не от ягоды.

Пока Дороню таскали по судам, жена его отчего-то заболела. После того случая она быстро увяла и вскоре умерла, не пережив горя. Всё произошло слишком быстро, и никто этому не удивился.

Потом Дороню отпустили, признав больным на психической почве. Да и держать ответ ему было не перед кем, кроме как перед самим собой. Он замкнулся и даже потерял способность говорить. Несколько раз его вынимали из петли, а ружьё, как и должно, изъяли.

Не брал Бог душу Дорони, уготовив ему, как видно, другой путь.

Постепенно от него все отвернулись, а после и вовсе забыли. Дороня всё больше пропадал в лесу, постепенно превращаясь в лесного бродягу. И уже никто больше не называл его везучим человеком и не завидовал его судьбе.

ЧУЖАЯ РЕКА

Вода текла тихо, спокойно. Можно было часами смотреть в её мутную глубину. Иногда она несла разный мусор: брёвна, вывернутые с корнем деревья, всякие предметы, напоминавшие о том, что на реке живут люди. Но все это проплывало где-то вдали от берега. Здесь же, в тихом заиленном улове, отделённом от основного русла реки длинной каменистой косой, было тихо и спокойно.

По берегу росло много липы, бархата, клёна. Оттого место было очень хорошим и удобным для разведения пчёл.

«Умели выбирать места. К делу с умом подходили», — думал, вздыхая, Матвей, завидуя такой проницательности и серьёзному подходу предков. Он всегда с большим уважением относился ко всему, что называлось стариной, даже к простой ржавой железяке, что могла валяться забытой в сарае.

Его пасеку называли Поликарповкой. По имени её первого хозяина.

Размышляя об этом, неизвестном ему человеку, Матвей видел перед собой бородатого казака недюжей силы и смелости, сумевшего обосноваться в таких глухих местах. Думал о том, как торговал его предок с китайцами, как нанимал их бесчисленное множество по своим нуждам и во всём был сам себе хозяином. Как раздела догола его революция и лихие годы беззакония и разрухи. И как пропал, словно сгинул, как и его сородичи, в лагерях старый казак. Таких были сотни и тысячи.

Много лет место пустовало, было заброшенным и разорённым. И вот теперь Матвею удалось восстановить Поликарповку, отстроить заново дом и омшаник. Для этого пришлось исколесить полтайги, разбирая брошенные пасеки, благо, этого добра в тайге ещё хватало. Почти все они стояли бесхозными, гнили, разваливались и растаскивались отчаянным лесным народом. Здесь же, правда, ценой невероятных усилий, старый хлам пошёл в дело. За полгода вырос

целый город на берегу Амура, словно кость в горле у китайцев и как заноза в заднице у пограничников. Последних этот вопрос особенно беспокоил и создавал много проблем для Матвея.

И всё же Поликарповка стояла, а сам Матвей, измотанный жизнью, но гордый и несломленный, продолжал дело своих предков — жил на реке.

А проблемы были серьёзные. С тех пор, как опустили Амур колючей проволокой в шесть рядов, с рекой у народа начались большие трудности.

Не помнил Матвей, но знал по рассказам стариков, как раньше, до войны, да и после, люди ходили друг к другу в гости. Зимой по льду. Летом на лодках. Чужого не брали и жили в мире. А то, что было до революции, об этом и говорить не приходилось. В крае жизнь была ключом. Весёлая, говорят, жизнь была.

Но появилась колючая ограда, вроде как для безопасности, и народ потихоньку стал забывать реку. Догнивали сети, разваливались старые лодки. «Обезлошадил», как говорится, народ. А река продолжала нести свою мутную воду на восток. Много её утекло с тех пор, как выросли вдоль берега столбы, похожие на висельные перекладки. Матвей уже и не помнил этого момента. Тогда он, как выражался покойный отец, был ещё щенком, вечно скулил и забывал садиться на горшок.

Выходило так, что вырос он за колючей проволокой, словно в зоне. Все деревни, что стояли по Амуру, оказались за оградой и даже опухшими специальными полосой, чтобы не прошёл враг.

Враг-то не проходил. Да вот объясни это глупой корове или быку, которые вечно попадали в ограждения. Такую обезумевшую от страха и боли скотину обычно пристреливали на глазах у всего народа. А вот с дикими животными было иначе. Медведи, изюбры — эти лесные великаны границ для себя не знают. Сколько шкуры своей оставили лесные жители на этом адском ограждении, было известно одному Богу. Но зато граница продолжала быть на замке. И всё это, удивительное дело, годами нормально воспринималось народом. Словно так оно и должно было быть.

На реку купаться — по расписанию, на рыбалку — с разрешения. И всё через калитку. А вечером опять на замок.

— Но от кого?! Для чего? — тысячу раз спрашивал и себя и других Матвей.

— Для порядка, — был простой ответ.

Бывало, сядет Матвей на скамеечку и смотрит сквозь ряды проволоки на амурскую гладь, а по воде, словно гусиные пёрышки, порхают китайские джонки. И такое отчаяние брало его от этой картины. А соседи своего не упускали. Хозяйничали, как могли. Стоило только сойти льду, как тут же высыпали на реку дети Мао Цзедуна, кто на чём.

«Конечно, прокорми такую ораву. Это же надо... Миллиард! Будут, что ли, они смотреть, как мимо добро проплывает», — разорился Матвей, забывая вкус настоящей амурской рыбы. А может, и не знал? Кеты, аухи, нельмы — желтощёка или хоть сазана. Всей рыбы не перечсть. А какой вкус у калужьего мяса, об этом и думать боялся Матвей. Думал, конечно, то тут же истекал слюной.

Всё это доставалось «младшему брату» — китайцу. А русский народ, исконно коренной, амурский, медленно, но верно спивался, переходя на тюрю и комбикорм.

Многого стоило Матвею заполучить Поликарповку. Истоптал все коридоры, обстучал уйму дверей и устал доказывать, что это надо не только ему, что укреплять границу надо не пушками и заставами с проволокой, а жизнью самой обыкновенной. А где будет жить человек, хозяин, там всегда будет порядок. Он, как ему казалось, видел корень проблемы. Земля-то хирела. Берега пустели. А у народа отобрали не только её, матушку родимую — реку, но и руки отбили. Правда, послабления всё же были. Часть заграждения в связи с перестройкой убрали. И всего-то? Толку-то с этого! Ну, имелась на всё село Никольское пара лодок с подвесными моторами. И что? Чего стоило мужику получить разрешение для выхода на реку. И опять досмотры, проверки, согласование инструкции. С ума свихнёшься. Сколько слёз пролила бедолага! А в случае чего — пошёл вон.

— Да кто же здесь хозяин?! — разорился как-то Матвей, глядя в тупые, замутненные глаза коменданта. — Вы что же это творите?! У меня пчёлы роются, вот-вот улетят к узкоглазым. А у вас ситуация. Кака ещё така ситуация?! Знаю я ваши дела. Зады начальству лижете, на задних лапках бегаєте. Слышали. Понаехало с области шишек. Опять зверя пропастить будете. Бойцов бы лучше накормили. Глаза устали на пареньков смотреть. Стыд берёт.

Задел-таки за живое майора и попал в опалу. Комендант тогда так и обомлел, не привыкши выслушивать подобного от народа. Всё как есть выплеснул тогда Матвей на майора из-за пчёл, но так и не убедил в правоте «хозяина границы». Все его пчёлы изроились, матки вылезли и улетели к чёртовой матери в Китай... Что им полтора километра воды? Тьфу!

Впрочем, в Китай улетали не только пчёлы. И никакие пограничники препятствовать этому не могли. Железо, медь, весь цветной металл, соляра, даже трактора — всё уходило, словно в прорву, за границу. За это китайцы платили вонючей китайской водкой ханжой, барахлом сомнительного происхождения в виде магнитофонов и тряпья. Называлось это «бартером» — словом, от которого шёл особый дух гордости, риска и отвращения.

Сам Матвей смотрел на бартер как на способ выжить. Он-то хорошо понимал, что это обычная кон-

трабанда, за которую можно получить срок. Но жизнь заставляла крутиться, как куриное яйцо на наклонной плоскости, и, чтобы не упасть, Матвей не брезговал даже этим ремеслом. В этом был свой резон и даже польза.

Китайцы могли взять всё. За какие-то пару лет народ вычистил все свалки и помойки. Никому не нужно добро, что годами гнило и ржавело без пользы на совхозных свалках, уходило «на ура». От этого в домах появилось китайское барахло, а в больницах всё больше отравленного вонючим зельем народа. Брали даже гнилые коровьи шкуры. Поуменьшилось по деревням собак. Стали пропадать кони. В общем, народ не спал и не зевал. Хватал и брал всё, что плохо лежит. А ночью, в условленных местах, по воде шли нагруженные добром джонки. Шли туда и обратно. Народная таможня, как выразился какой-то остряк, сидя за решеткой, не знала выходных.

С собачатиной Матвей не возился, предпочитал не марать рук. Пока на заставе был «свой» старшина, да и командир толковый, дело шло. Никто внакладе не был. Но сменилось начальство, и дело разладилось, шло с большим напрягом. Семья требовала денег, а мёд... Да кому он был нужен при таких ценах! Везти его в город — в дороге обдерут как липку. Жизнь заставляла рисковать, и Матвей рисковал, умудряясь провозить за «проволоку» товар. Выгребал старые запасы меди, алюминия. В ход шли старые радиаторы, проволока, гнутые вилки, брошенные самовары, умывальники и тому подобный хлам.

Однажды с «пьяных глаз», всё с теми же китайцами — Матвей продал коня. Потом, правда, жалел шибко. Но куда он был ему? Конь-то. Пятым колесом в телеге. Это ведь не преданная собака. Конь — существо свободное. Да и возни с ним, как с дитём малым. Убежит — лови. Овсом накорми. Башмаки стопчет — ищи подковы. А народ кругом ушлый, того и гляди, упрут. Не китайцы. Так пропала Белка, собака, которую Матвей любил, как человека, и которой не было цены. Лайка особой зверовой масти. И какая-то сволочь не погнушалась — забрала с пасаки в его отсутствие. От одной мысли о собаке его выворачивало наизнанку от досады. А забрали свои. Плыли мимо и прихватили его собачку. «Совсем охренел народ. Потерял последние остатки совести и страха», — горевал Матвей. Оттого и отдал он своего «ма» соседям. Подплыли на джонке, взяли под уздцы бедного Ермачко, и поплыл бедолага за границу вслед за лодкой. А что ему делать?

Видел его потом Матвей на противоположном берегу, а потом в поле. Жизнь коня круто изменилась под китайским ярмом. Успокаивало то, что хоть имя его, законное, казачье, за ним сохранялось — Ермачко. А тому хоть Рексом, хоть Телевизором. В обмен на телевизор, впрочем, и ушёл его «ма» за кордон. Да много ли по нему увидишь, если, кро-

ме китайских программ да противной рекламы, больше ничего не показывают. Так и остался Матвей безлошадным, с ненужным телевизором. Правда, был ещё конёк, безропотный и покладистый. Никуда не убежал и слушал беспрекословно все команды, часто выручая своего хозяина. Но того конька надо было кормить бензином высшей марки. А по нынешним временам выходило то топливо золотым. И всё же «конёк» спасал. Даже пограничники порой молились на его надёжность. Но искренних людей на заставе было немного. От этого договариваться с вояками было непросто, а порой и невозможно. Так что занимался Матвей контрабандой не от хорошей жизни. Слава богу, зиму прожил безбедно. Дочку в институт собрал. Жена не роптала, а в кармане появился запах денег. Многие завидовали, а стало быть, и клязуничали, кому надо. Мир-то был не без добрых людей.

Вот так подолгу, вечерами, сидя на берегу, размышляя о своей горбатой жизни, Матвей всё же склонялся к мысли, что дело это — паршивое. Не стоит того, чтобы тратить на него жизнь. Каждый раз он помышлял послать китайцев куда подальше, благо, те всё понимали, и заняться пчёлами всерьёз. Завести хозяйство. Ловить рыбу. Да мало ли работы на пасеке, особенно весной. Но пару дел с китайцами выкрутить всё же надо было. Да и какая рыбалка без сетей. А их можно было раздобыть только у соседей. А с теми не всякую кашу сварить. Прости, что хочешь, но не сети. Чего тут непонятного? Кто же будет делиться табуреткой, на которой сидит. Но Матвея китайцы уважали и где-то даже побаивались. Оттого всегда имели с ним «дело».

Время подходило к вечеру. Солнце уже скатилось за сопки по ту сторону реки. Хорошо было вечером у воды. Тихо. Из глубины выпрыгивала рыба, оставляя круги на ровной глади, летали в воздухе бабочки. Ещё краснели от последних лучей верхушки клёнов и бархатов, благоухая молодой листвой. Словно алые паруса, возвышались выше по течению отвесные утёсы, круто уходившие в амурскую быстрину. Туда Матвею было не добраться на своей утлой «резинке», но пешком он туда ходил не раз. Берега там были отвесные. По скалам гулял порывами ветер, наполняя душу непередаваемым чувством восторга и свободы. Там, в самых вершинах, освобождал себя Матвей от налипшей на душу шелухи брэнного своего существования и забывался, растворяясь всем телом в окружающем его пространстве. Подолгу завороченно глядел вдаль, забывая о том, кто он. Но те минуты свободы и счастья были недолгими, и, глядя вниз, Матвей видел, как суетятся безо всякого стыда и страха под скалами, на его земле, соседи. Ставят сетки, наверное, тоже радуясь такой же трудной и непростой жизни, совсем не понятной Матвею.

Дождавшись сумерек, он взял фонарик и дал условный сигнал. Почти сразу, словно его караулили, мигнули с того берега. Это означало, что всё готово и скоро надо ждать гостей.

В душе у Матвея всё загорелось. Он порадовался, что помощник его спит с большого перепоя и мешать не будет.

Товара было немного. Два обшарпанных, но ещё рабочих дробовика да три радиатора, не считая мелочи. Матвей рассчитывал на ружья, что они не подведут и не дадут сбой. Мужики, давшие их на обмен, просили немного и больше надеялись на порядочность Матвея да на удачу. А то, что отечественные, в особенности старые, ружья были у китайцев в цене, Матвей знал хорошо. Своей доли он в этой сделке не видел, но, располагая товаром, можно было потребовать и что-то для себя.

Последнее время дело не клеилось. Да и китайцы как будто наелись. Брали не всё и жутко торговались. А этого Матвей вообще не любил. Может быть, поэтому к нему всегда относились с уважением, постепенно перенимая некоторые особенности его характера. Иногда приезжали без дела, привозили с собой много свежей еды, больше овощей и мяса, зная особенную страсть Матвея и то, что он часто сидел на одной картошке и без хлеба. Нравилась им русская земля, и, как могли, жестами, исковерканными словами, ни на что не похожими, китайцы давали понять Матвею об особых к нему чувствах. Они тоже любили выпить. Иногда дрались меж собой из-за какой-нибудь ерунды, Матвей покатывался со смеху от этого, разнимал разгулявшийся народ, словно детей, и растаскивал по своим джонкам. Особенно приходили в восторг гости от русской брани, на которую Матвей с детства был большим мастером, передавая соседям основы русской народной речи.

Всех, с кем приходилось общаться, Матвей хорошо знал и никогда не путал. Как мог, запоминал чужие слова, стараясь вникать в китайскую речь, вызывая тем самым неподдельный восторг и уважение у друзей. Всё это были такие же бедолаги, как и он, и при общении можно было обходиться простыми жестами и фразами.

На реке был свой порядок. Китайцы тоже были несвободны: кому-то платили дань, отдувались за нарушения пограничного режима в своих катажах и панически боялись как русских, так и своих пограничников. Были на реке даже свои «новые китайцы». Подплывали пару раз на Поликарповку, даже пытались навязать свои правила. А Матвей их послал по-русски. Они его, как и полагается, тоже. И как ни странно, не по-китайски. До угроз, правда, не дошло. Русский язык становился обиходным на реке. Почти каждый, даже безграмотный китаец знал два-три десятка слов по-русски и страшно этим

гордился, как будто между странами было какое-то соперничество.

Но какая тут конкуренция, если у Матвея даже лодки нормальной не было. Ведь это как же... Весь его берег обложили вдоль и поперёк. Матвей с трудом втискивался в эти ряды по праву хозяина. Но этот статус был не таким лёгким. Его надо было не только иметь, но и удерживать. Пользоваться. А у него даже захудалого судёнышка не имелось.

Не положено!

Курьёз.

Ему-то куда бежать? Ведь здесь русская земля кончалась. Для Матвея было ясно, что на заставах и в комендатурах сидели сплошные суки. Стучали друг на друга по всякому поводу и без повода, а заодно вязали народ, вроде Матвея, по рукам и ногам всякими правилами и запретами.

Однажды дошло до нелепого.

С бензином всегда была напряжёнка. А для раздолбанных вояковских машин и подавно. Ну какой воин знает толк в двигателе? Да и кому придёт в голову ковыряться в разбитой машине, когда десятилетиями жили за чужой счёт, несли мнимую охрану рубежей, а на деле растаскивали добро, получая очередные звёздочки, сосали титьку у государства.

Заехали как-то «гости». Принесла нелёгкая. Дай, мол, бензина, выручи по долгу службы.

Матвею горячего и самому не хватало. Но соседи, как не дать. Надо делиться. Так и выручил.

— Ты хоть понимаешь, чего просишь? — в сердцах спросил Матвей у молодого бравого лейтенанта.

Да, мол, большое вам с благодарностью, товарищ Декин. Премного вам и так далее.

Так и растрогал. Посидите, мол. Отдохните малость. А там и в дорожку.

Даже накормил нашу доблестную армию. Святое дело. И хрен же дёрнул его тогда пивом угостить этого недоноска. За одной бутылкой другая. Как не поговорить с человеком о жизни. Штук пять и высосали, даже на дорожку дал. Давай, служи свою службу, да добра не забывай.

Тот и не забыл. Через неделю в комендатуру для беседы. И вещественное доказательство налицо. Вот вам форменная контрабанда, товарищ Матвей. Откуда у вас заграничное пиво?

Матвей был ошарашен таким оборотом. Но виду не подал. Ответил по всей форме. Со всеми знаками препинания.

— В вашей шарашке, гляжу, на каждую букашку отдельная бумажка. Но если я и пил пиво с вашим стукачом, то это ещё не доказывает, что добыто оно незаконным путём. Меня с этим пивом никто не ловил. А то, что я, как человек, поделился последним бензином с вашим иудой... За это извините. Не знал ваших порядков. На добро говном отвечать. И вообще... мне противно говорить на эту тему. А вам я, то-

вариш начальник, глубоко сочувствую, что у вас в отряде завелась такая гнида.

Потом Матвей в подробностях поведал о содеянном, добавив от себя только то, что пиво приплыло к нему само. Предположил, что, наверное, где-то джонка китайская перевернулась. Да мало ли... А отказать от такого трофея не в его правилах.

Майор оказался неглупым. Всё понял. Но дело двинулось, и «телега» закрипела от одного стола к другому. Так что с каждым разом проезжать на пасеку становилось всё хлопотнее. Нет, мол. И давай отсюда. У нас ситуация. Граница на замке. Пчёлы твои с голоду не помрут. А до твоих детишек нам дела нету. Не один ты такой умный.

Джонка вынырнула из темноты неожиданно. Матвея поразил её бесшумный ход и то, что среди мглы китайцы безошибочно находили его пасеку. Это обижало. Китайцы знали реку как свои пять пальцев.

Большинство тех, кто бывал у него в гостях, почти не понимали по-русски, так же, как и сам Матвей по-китайски. Но для общения хватало совсем немногого.

Хао — значит хорошо. Бу-хао — значит плохо. Ну, а если пу-шин-го — это вообще хреново. Хуже, значит, не бывает. Лучше уж по-русски... От этого китайцы скалили зубы и прятали своё барахло обратно в лодки.

А однажды Матвею довелось побывать за границей. А как не побывать, когда вот она. Рукой подать. Один из гостей пришёлся по душе Матвею. Звали его Кван Ли. Или просто Ван. Тот знал неплохо по-русски, мог даже писать. Матвей подозревал, что такие знания не случайны.

— Ну да и чёрт с ним. Поехали, да и все дела.

Так и оказался на той стороне.

Ай да страна! Фанзы, мазанки. И до чего убоги. Заборы — изгороди из плетёной лозы. В домах, как в стойле у коня. Но потом до Матвея дошло: чего же сравнивать, если культуры разные. Народ из небытия подымается. Правда, у Квана было прилично. Там гостей ждали. Ещё бы. Диковина такая. Бородастый, здоровый, с волосатыми руками и матерится как сапожник. Это же какая радость ребятишкам. У Квана на такой случай даже пластинка с Лидией Руслановой оказалась. Пришлось плясать вприсядочку. Даже стул сломал. Матвей был звездой вечера. Что пел — не помнил, сколько выпил — не заметил. А очнулся уже на берегу, когда набрёл на старых знакомых. Дело оборачивалось не лучшим образом, и, если бы не Кван, влип бы Матвей в историю.

Вспомнились сетки, которые Матвей порезал когда-то на глазах у хозяев и отправил плыть по течению, потому что стояли поперёк его сеток. Припомнились и кулаки его тяжёлые.

И ведь набрёл же, свёл случай! Поначалу подумалось, что Кван специально подвёл его.

По двум рожам Матвей не промазал. А потом хозяева берега взялись за колья и топоры, и понял Матвей, что дело дрянь. Вовремя подоспел Кван, и начали братья китайцы падать штабелями по берегу. Вот это было зрелище! Непростым человеком был Кванушка. Непростым! Да кто бы он ни был, что ему взять с простого русского мужика. А раз показал себя человеком — так спасибо. Ни тайн, ни секретов Матвей не знал, да и не хотел. А с китайцами надо было уживаться. Ведь люди же. Как не общаться? А вода, что разделяла два берега, — это, как размышлял Матвей, та же земля. Только жидкая.

Джонка остановилась недалеко от берега, и Матвей услышал знакомый голос:

— Капитана деся?

Матвей рассмеялся и вышел из тени.

— Какой тебе капитана? Кто там? Ты, что ли, Кван? Или кто ещё? Конча, что ли? Арбузная твоя голова.

— Ай, ай! — послышалось с джонки. Лодка тихо подплыла и с шорохом зашла на невысокий берег. — Любися, Матвея, люгася. Ай, ай. Бу хао.

Двоих Матвей знал. С другими пришлось познакомиться на месте. Похрустев костями гостей, он пригласил всех на берег и повёл к летней кухне, где обычно решались дела.

Он заранее обдумал фразы, чтобы обстригать дело как надо. Товар для обмена был готов.

Не рассусоливаясь, Матвей выкатил на стол поллитровку ядрёной самогонки собственного производства, вызвав тем самым тихий восторг и цоканье языков гостей. На столе появилась китайская закуска, и через полчаса гости уже забыли, кто зачем приехал.

После первой склянки стали бороться на руках. Всем хотелось помериться силой с Русским Матвеем. Тот смеялся, вколачивал гостей в старый кедровый стол, потом опять пили, но как-то незаметно всё же перешли к делу.

— Я начальник таможни! Ты понял? Бестия желтомордая... — ревел Матвей, тыча себя пальцем в грудь.

Кван в дело не лез, а только наблюдал. По привычке озирался по сторонам и болтал с другим товарищем.

— Я тебе ещё раз говорю! Русским языком. Я... — Матвей хватал тетрадь с приготовленными заранее фразами, тыкал ею в лицо гостя, словно доказывая свою правоту и разглядывая со всех сторон своего гостя, — как его там, хай-гуань-чжань. Ты понял? Давай мне сетку. Теперь я здесь буду ловить рыбу. Юй буду ловить. Рыбу! Ты юй любишь? Я тоже люблю.

Китаец скалил зубы, кивал, что-то лепетал птичьи, пытаясь уравнять процесс общения познанием русского языка.

— Тивая бели тезивиза. Пинь-го бели. Си-гуа бели. Я себе рюжэ. Девестиволику мне.

— Хрена тебе, а не двухстволку. И си-гуа свои жри сам. А мне за дробовик давай пять сеток. Пять! Уга, шига, лянга. — Сбиваясь со счёта, он громко ругался, вызывая смех соседей, сжимал кулак, выпрямляя по отдельности каждый палец и тыкал им в лицо собеседника. Так могло тянуться хоть час, хоть два. Конча уже сидел пьяный в углу и улыбался летающим мотылькам, посмеивался, но не лез, зная, что все прекрасно понимают, чего хотят, и не мешал людям общаться.

— Пять! Слушай меня! Я тебе по пальцам. Луфань сеток. Не скупись. Я вам такого ма за какой-то сраный дян-ши-дзу отдал. Ма огромный! Дян-ши-дзу маленький. А ты мне сетки скупись отдай. Или ты хочешь, чтобы я лягушек жрал? Как их там... Ми-фэн. Ой, нет. Это пчёлы. А, во, вспомнил. Цин-ва. Цин-ва бу-хао. Жри её сам, свою лягушатицу. А мне юй надо. Хао? Ты понял? Хэ моя! Я живу на ней. Видел — текёт, это моя река. Амур хэ моя.

— Вася, вася, — заулыбался китаец. — Амуля вася. — Он ещё что-то предлагал, ставил на стол бутылки с пивом. — Моя угося Матея.

— Ты мне зубы не заговаривай. Ваша бэй говно. В гробу я видел вашу водку! — давил Матвей. — Пушин-го!

— А мозета, пи-цзю нада? Сё нада? Бели сколько нада.

От долгого торга Матвей уже забыл, чего хотел. Китаец совал ему под нос разное барахло, сбивая с мысли.

— Хрен с тобой, базарная твоя душа. Давай пи-цзю. Хао-ба. Уговорил. Пиво хао.

Хмель мутил разум, отчего Матвей вдруг срывался, сметал всё со стола, брал кого-то за грудки, чего-то грозил, пересчитывал, загибая пальцы.

— Сапоги твои — бу хао! Как их там, сё. Вообще, пушин-го! Больше не привозите. Вон как за месяц развалились.

Топая ногой по некрашеному полу, он будоражил гостей, снимал сапог, со смехом показывая дыры, тем самым набивал цену на свой товар.

Торговля могла тянуться хоть целую ночь. И такое бывало. В конце концов Матвей махнул рукой, взял одно из ружей, на глазах зарядил его пулей и без предупреждения всадил заряд в старую железную бочку из-под мусора. Все в один миг протрезвели.

Сквозная дыра вызвала восторг у гостей, лёд тронулся, и все побежали к лодке за тем, что требовал хозяин. Из-за дробовика едва не дошло до драки. Второй ствол взяли без особого трепета. Ружьё не внушало доверия своим обшарпанным прикла-

дом. Но Матвей был в ударе и убедил китайцев в том, что это ерунда, что всё русское — самое лучшее, а старый приклад лишь доказательство качества товара.

Вскоре на берегу лежало пять новеньких сеток, пара кассетных магнитофонов, куча разного тряпья, парфюмерии и всякой мелочи, не считая ящика ханжи и пива. Это уже в счёт не входило и считалось подарком за визит.

С трудом убрав добро под навес, Матвей махнул на всё рукой — гори оно синим пламенем вместе с китайцами — и, шатаясь из стороны в сторону, побрёл спать.

Среди темноты ещё постукивал дизелёк китайской джонки, о которой Матвей даже не мечтал. Вокруг керосинки летала комарня. Пасека опять стала тихой и унылой, едва заметной со стороны реки. Куски прошедшего кино ещё крутились в голове. Как и черед прошлого, был прожит ещё один день.

Так проходили дни и недели. Приближалась осень, а вместе с ней холода. Китайцы жили своей жизнью, Матвей своей. По утрам он выходил на берег, проверял снасти. Варил сироп и кормил в зиму пчёл. Дел хватало.

Иногда с того берега доносилась музыка. Поначалу это раздражало Матвея. Но потом он привык. Его-то берег был диким, безлюдным. А тут хоть и непонятная, а всё же живая речь. Теперь Матвей знал, что там живёт удивительный народ.

Возделывали поля. Строили фабрики. Что-то взрывали. Поля ощущение, что китайцы всё время к чему-то готовятся и никогда не спят. Что-то, а работать они умели. Поля опахивали на быках, как муравьи копались среди холмов, проходила неделя, другая, как заседалась земля, вырастали на ней арбузы и дыни, каких Матвей сроду не видел у себя в деревне.

Китайцы не сидели на месте. Они словно подымались из небытия, хотя и жили по уши в грязи. Всего каких-то двадцать, да что там, десять лет назад берег их был пустынным и необжитым. Теперь всё выглядело иначе. Появились деревни, города. Находчивые китайцы даже научились воровать целые острова. Невесёлым выглядело будущее Матвея на таком фоне. Особенно после того, как он узнал, каким образом оттягивали соседи бесхозные русские земли в свою пользу.

По ночам они вручную пересыпали целые протоки, соединяя свой берег с островами. А ведь все острова по реке, согласно договору столетней давности, были русскими. После этого протоки пересыхали. А на экологию, по своей темноте, китайцы не смотрели. Моя живи, моя бери, такой вот расклад. Соседи словно демонстрировали свою силу, посмеиваясь над результатами перестройки и тем бардаком и разрухой, что творились на другом берегу.

Сидя вечерами в своей берлоге, под тусклый свет старой, вонючей керосинки, Матвей с болью переживал медленное вымирание своего края, некогда богатого и независимого, когда вдоль берега ходили казачьи дозоры от Хабаровска до Благовещенска и за каждой пядью земли стояла русская душа.

И он, как мог, охранял свой маленький клочок земли. Да выглядело это со стороны смешно. Палкой эту саранчу от берега не отгонишь. Где срежешь одну сетку, появятся три. Зимой соседи без зазрения совести воровали лес, летом — рыбу. Не брезговали песком, в котором было золото. Умудрялись из-под носа самих пограничников, рядом с заставой, украсть брёвна по льду.

— Да как же это! — распалялся огнём Матвей, глядя на такое безобразие, на беспомощность и бесполезность границы. Государство в государстве наминало гнилой пень. Ткни его ногой — и повалится.

Иногда Матвей жалел, что променял тайгу на Амур, где всегда чувствовал себя гостем. Там-то, среди лесов, было спокойнее. Но у всего была оборотная сторона. Бывало, что и без мёда сидел всё лето, и зимой без мяса. Тайга не магазин.

На реке было веселее. Всегда с рыбой. Только не ленись. Лови. А есть рыба, с голоду не помрёшь. Да и для пчёл климат подходил лучше. При такой жизни кому нужен город? Летом баржи мимо идут. Можно договориться. Зимой дрова готовы. Нужно всем. А хочешь, на печке сиди, возле жены.

«Да ведь можно жить-то! Можно», — думал Матвей. Так, глядишь, и наладится жизнь.

Он быстро освоил ловлю сплавом. Редко когда сети были пустыми. Правда, лодку приходилось прятать.

Бартер его постепенно заглох. И слава богу. Летние хлопоты не давали продохнуть, да и «овёс» для машины становился всё дороже. Не наездишься. А ведь каждая поездка — риск. Если захочешь провезти чего недозволенного, извертишься на пупе. Хорошо, если боец глаза закроет. Отблагодаришь. Когда рыбкой свежей, жареной, а когда и трофейным пивом. Водилось и такое.

Примерно так и просачивалась, куда надо, информация на Матвея о его нелегальной деятельности. Шила в мешке не утаишь. Всё больше сгущались тучи над Поликарповкой. Матвей был не слепой, а потому брал от реки всё, что мог, сутками возился со снастями, постепенно забрасывая пчёл. Сами, мол, разберутся. В совхозе на него тоже точили зуб. Грозилась уволить. «А тогда чего с чужим добром возиться», — думал Матвей.

Соседи словно забыли о нём. Были стычки из-за сеток. Но постепенно притёрлось. Теперь Матвей был полноправным хозяином своего улова и не позволял бросать чужие снасти поперёк своих. Несколько раз ему крупно фартило с добычей. Тайме-

ни, огромные жирные аухи, каких он раньше не видел, влетали в его сети, как к себе домой. Одной такой рыбины хватало на целую неделю. Соседи, друзья, все, кто знал его в деревне, ждали Матвея, как новогоднего Деда Мороза с полным мешком подарков.

Обзавёлся он и специальными снастями на калугу, всё от тех же китайцев, не гнушаясь тем, что способ этот был варварским и хищным. Огромные крючья, привязанные к капроновому фалу, опускались на дно и, если мимо проплывала большая рыба, впились в добычу словно иголки. Но такое бывало не часто, и то по рассказам.

По воде уже шла шуга. За ночь забереги прихватывало ледяной коркой, а по Амуру тянуло холодным пронизывающим ветром.

Матвей доживал последние деньки на Поликарповке. Согласно приказу, он должен был покинуть место до конца месяца. Собрать всё своё барахло — и до свидания. Пчёлы, дом, склад — всё, ради чего Матвей не один год рвал свой пуп, оставалось совхозу, ну и китайцам. Об их ушлости он хорошо знал. То, что пасека в один миг будет разграблена после того, как он уедет, он не сомневался. «Да и хрен с ним. Гори всё огнём», — ругался Матвей, понимая, что исправить что-либо не в силах.

Проверив лодку и не дождавшись, когда пройдёт пограничный дозор (бойцы, как и положено, протопали неслышно мимо пасеки, оставаясь незаметными среди листвы), Матвей спустил резинку на воду и сделал пару сплавов вдоль берега. В таких случаях он отгребал от берега на сто — сто пятьдесят метров, растягивая сеть на всю длину, а помощник шёл по берегу, удерживая второй конец.

Улов оказался средненьким, но на уху хватало, даже на двоих. Оставалось снять пару сетей, киснувших в воде больше месяца. Откуда-то снизу ползла джонка. Матвей даже догадывался, чья это посудина. Под занавес своей карьеры он хорошо повздорил с соседями и даже подрался, благо, на своей земле.

В джонке сидел Конча, как всегда обутий в дражные резиновые сапоги и одетый в просоляренный пиджак на голое тело. Это был его постоянный костюм на все сезоны, правда, зимой на голове появлялась ещё кроликовая шапка. Пропитанный насквозь мазутом, залепленный рыбьей чешуёй, он больше был похож на сушёного карася. Издали заметив резинку, Конча дал отворот и отошёл от берега. Все китайцы обожали шариться вдоль чужого берега, словно своего было мало, хотя именно так и было. Каждый лоскут китайской воды давно был поделен. Даже русская вода была раскроена и поделена между соседями, и в каждом закутке торчала добротная китайская сеть, из которой не смог бы выбраться даже пескарь.

Не обращая внимания на джонку и обиженного соседа, Матвей продолжал выбирать сетку. Пойманную рыбу подолгу приходилось выпутывать из ячеи, вода студила руки, пальцы не слушались. Но выбирать сеть надо было. Не бросать же. Оставалось не больше двадцати метров, самый глубокий отрезок. Часть сетки уже болталась по другую сторону лодки. Матвей погрел дыханием пальцы и, запустив руки в воду, стал выбирать остаток снасти, на конце которой был привязан груз. Вдруг сетку потянуло в сторону. Это было неожиданно. Сетка словно ожила. Руку дёрнуло так сильно, что она по локоть ушла в холодную воду. Матвей даже не успел толком сообщить, что произошло. Его словно прилепило мордой к лодке. Лицо буквально размазало по мокрой резине. От сильного рывка его лодка едва не перевернулась. Он почувствовал, как под штаны хлынула вода. Чудом извернувшись, он ухватил свободной рукой резиновую проушину, пытаясь удержаться в лодке. Через секунду он почувствовал такой страшной силы рывка, что в руке что-то захрустело, а от боли потемнело в глазах. Не было и речи о том, чтобы пытаться вытянуть сетку. Кто бы он ни был — водяной или рыба чудовищных размеров — в сетку он влетел основательно и хотел только одного — утопить Матвея вместе с его лодкой. Тонкие, но крепкие жилки иглами впились в его пальцы и сплели их в один морской узел. Боль была невыносимой. От страха Матвей заорал что было сил, но в это мгновение его дёрнуло ещё сильнее, лодку поставило на бок, а голова его полностью ушла в воду. Оказавшись в воде, он с ужасом увидел и осознал размеры рыбы. Несколько метров одной сплошной массы чего-то незнакомого, странного и пугающего лениво шевелилось прямо под ним, у самого носа. Рыбина, скорее всего, заснула, а когда влетела в сеть, захотела свободы. И что ей его путанка. Паутина, да и только. Он попробовал высвободить руку, чтобы отрезать шнур. На поясе болтался нож, но на этот случай не хватало третьей руки. Превозмогая боль, Матвей с трудом вытянул из воды голову и глотнул воздуха.

— Сетку! Режь сетку! — заорал он. Ему вдруг подумалось, что китаец ничего не понимает, да и вообще должен радоваться его печальному концу. Голова опять ушла под воду. Рыбина рассердилась не на шутку и сделала ещё несколько резких рывков. В тёмной глубине проглядывал её ребристый хребет, длинный уса́тый нос и похожая на развёрнутую гармонь пасть. Неожиданно сеть ослабла, и Матвей увидел, как в тёмной глубине что-то зашевелилось. Рыбина вдруг плавно поднялась, едва не коснувшись своим серпообразным метровым хвостом дна лодки, и снова пошла вниз. «Проснулась стерва», — промелькнуло в голове у Матвея, и он приготовился к самому ужасному. Вдруг перед глазами что-то блес-

нуло, потом он почувствовал, что его тянут, словно куль, наверх.

Когда всё осталось позади и Матвей уже сидел на берегу и трясся от холода, стягивая промокшую насквозь телогрейку, к нему вернулась память и стала откручивать, как на магнитофоне, отснятое кино минувшей драмы.

Если бы не Конча, не побоявшийся прыгнуть в ледяную воду со своим ножом, рыба стащила бы его с лодки и утопила. Китаец вовремя пересек часть шнура, остальная жилка лопнула, оставив на пальцах неизгладимые отметины в виде глубоких рубцов. Добыча, о которой мечтал Матвей, да и Конча тоже, ушла от него в глубину вместе с его сеткой. Но это Матвея уже не трогало.

Конча сидел на берегу, цокал от восторга языком, качал головой и с каким-то особым чувством сожаления поглядывал на Матвея.

Когда тело успокоилось, Матвей пошёл в дом и через пять минут вернулся с мешком и поллитровой бутылкой крепкого зелья. Не замечая изумления своего помощника, с берега наблюдавшего за драмой, Матвей бросил мешок к ногам китайца, потом откупорил бутылку и отхлебнул добрую треть. Его передёрнуло, он поёжился, с трудом поборов приступ тошноты, от которого лицо его исказила жуткая гримаса, словно он проглотил лимон. Потом отхлебнул ещё и передал товарищу.

— Пей, Конча. Выпей за моё здоровье. Долго жить буду. Наверно. Давай, а то заболеешь.

— Сем хао! — с восторгом выдохнул Конча, сделав глоток с горла. — Калясё пиёсь. Конча не уметь.

Матвей усмехнулся, что-то подумал про себя и махнул рукой.

— Сетки в мешке. Это твои сетки. Забирай, мне они теперь ни к чёрту. — Матвей взял мешок и бросил его в джонку. — И давай отваливай. А то, не ровен час, гости нагрянут. Припаяют тогда статью. А тебе по шарабану надают и лодку отберут. — Он хлопнул китайца по плечу, повернулся и пошёл к дому. Уже на крыльце он услышал за спиной, как чётко заработал дизелёк, и обернулся. Китаец улыбнулся и по-детски замахал костлявой рукой.

— Амуля вся, либа нася, — пропел он и направил джонку против течения.

— Ваша, ваша. Чтоб ты ей... — Он не договорил, как будто осёкся, и сплюнул, плотно затворив за собой дверь.

КОГДА ПРИХОДИТ ОСЕНЬ

Ещё на подходе к Манжурке, только спустившись с высокого и крутого ряжа, Сергей услышал звуки. Они доносились со стороны Кедровой. Любой звук в

лесу был понятен для него. Будь то едва уловимый шорох в темноте, где каждый зверь оставлял свой, неповторимый звук, или завывание двигателя далеко в распадах. Прош цена была лесному человеку, не способному слышать и различать всего этого.

Эти звуки, едва различимые среди шума деревьев и весёлого звона скатывающейся речки, подсказывали, что на Кедровой кто-то уже сидел. Подойдя ближе к броду, он уже был уверен, что бесхозная пасека занята и, стало быть, гнать коня через болотину нет никакого смысла.

Сергей нехотя слез и подтянул у седла подпруги. В дороге они ослабли, да и конь был не из лучших. Совхозный. Такого пусти в намёт, и помрёт на первой версте. Но лучше в седле, чем ногами по сопочкам. А к нему Сергей с детства был приучен.

«Ладно. Может, на Чашавитой никого нет. Не всё ли равно, где ночь коротать», — решил он, в душе конечно же переживая за то, что планы его были кем-то нарушены. Можно было, конечно, и потесниться, за компанию, народ-то весь свой, знакомый. Но сегодня он уже настроился побыть один, и планы менять ему не хотелось. От пасеки уже ничего не осталось. Дом, наполовину сгнивший, остатки старого омшаника, где разный сброд коней своих привязывал, не успели ещё спалить. Сергей хорошо представлял себе, что и там в этот момент тоже вполне кто-то мог находиться.

Когда-то на Чашавитой была неплохая пасека. Да, куда ни ткнись, везде они были, полные мёда и жизни. Отовсюду тянуло дымком от дыма, слышался пчелиный гул. Всё исчезло в одночасье.

Омшаник и дом с трубой, построек не сосчитать, речка полная рыбы, зверья, что в зоопарке. Только вот пчеловод вывелся. Далеко стало ездить. Долго и дорого по нынешним временам. Это ведь не по асфальту. А Чашавитая была в самой глуши. Туда и дороги, можно сказать, не было. Дальше только тайга да медведи. Но для охоты в самый раз. И зевак меньше. Хотя бродяг конечно же хватало.

«Посиживает небось шобла — и не выгонишь. Место вроде бы как ничьё», — размышлял он по этому поводу. Злился.

Он не стал заезжать на Кедровую. И так всё было ясно. Собак свора, ещё радио. Вот уж чего, а этого он не понимал. На кой хрен в тайге радио. Тишины, что ли мало?

Целое лето Сергей мечтал выбраться из деревни, от суеты этой вечной отдохнуть, побродить опять же. Если не в избушке, так и у костерка перебиться можно. Осенью комара почти нет. А холод ему не страшен.

У ног улёгся Гуран и высунул язык.

— Запарился, поди, — пожалел собаку Сергей. Кобель преданно посмотрел в глаза хозяина и облизнулся. — Ну и чего развалился, барин? И не сиделось

же тебе дома. Полёживал бы рядом с будкой, охранял бы её. Или хоть на дороге, ворота караулил. Нет же, потащила тебя нелёгкая. Теперь не скули.

Жалко было кобеля. Собака досталась от соседа, а тот поработал два года в школе, да и уехал прямоком в Москву. Не тащить же за собой кобеля неизвестно куда.

Так и просиживал пёс днями, всматриваясь в уходящую дорогу, куда уехал хозяин. Грустил долго, не сразу привык к чужим людям. А тут ещё вот незадача — лапу ему прострелили. И нашёлся же человек! Этого Сергей не мог понять. Узнал бы кто — закопал бы точно. Ведь ни за что пса покалечили. Чем мог помешать кобель в тайге? Место охранял? На то она собака и есть, чтобы сторожить. За что и получила порцию картечи в заднюю ляжку. Кость перебило напрочь. Мясо-то заросло, а вот кости — нет. С тех пор так и болталась ненужным куском. Но кобель только злее стал и, как показалось Сергею, чувствительнее к запахам. Вот и сейчас Гуран хоть и лежал, а носом потягивал, рыча недовольно в сторону Кедровой.

— Пошагали, что ли, Гураша? Хватит отдыхать. Пробежал двадцать вёрст, так и оставшиеся три пройдёшь, не развалишься.

Сергей влез в седло, поправил на плече дробовик и направил коня вверх по распадку. Уже маячила впереди скала, под которой ютилась когда-то шибко богатая мёдом и комарами пасека, и конь, словно почуяв, что скоро его мучениям конец, пошёл веселее.

Особых дел не было. Разобравшись с конём, не теряя времени на мелочи, обследовал место. С первых минут было понятно, что на пасеке кто-то бывал, но не ночевал. Печь не топили.

Сначала починил плиту. Не поленился слазить на крышу, прочистить трубу. Потом прожёл сухой травой топку и только после этого растопил печь. Дыму всё же набралось, и пришлось растворить настужь дверь. Долго возился с уборкой, но без этого жить в чужой грязи он бы никогда не стал.

Управившись с делами, Сергей уселся на крыльце, старом и вытертом сапогами, и расслабился, вслушиваясь в окружающие звуки. Стояла тёплая сухая осень, ночами подмораживало, и кое-где, по рассказам охотников, уже ревели изюбры. Ему не терпелось тоже послушать. Может, не убить, но хотя бы постоять ночью с приоткрытой дверью и послушать, как режут быки.

«Выйдешь, бывало, звёзды мерцают, полно́м-полно. Морозец покалывает. И до того красиво вокруг — словами не передать! Из домика теплом потягивает, а вокруг тихо-тихо. Сложишь ладони и реванёшь что есть мочи. Эхо разнесётся по крутякам, а в ответ ему затрубят разом ночные великаны. По коже дрожь пройдёт. Что ты! Такие красавцы. Стрелять

порой жалко. Но кипящую кровь не остановишь. Жизнь есть жизнь».

Вот об этом и мечтал Сергей, вырвавшись из деревни на несколько дней.

Он закрыл плотно дверь, чтобы всякий гнус не летел в дом. Особенно помогали божьи коровки, валом валившие по осени на тепло. А заползёт такая в ухо или нос — обплюёшься или, чего доброго, оглохнешь. И такое бывало.

Потом он перевязал коня на хорошую траву, высыпал перед мордой очистки и порадовался, что прихватил длинную верёвку. Конь наслаждался короткими мгновениями своей лошадиной жизни, обмахивая неухоженные ребристые бока кучеватым хвостом... В его безрадостной совхозной жизни таких мгновений, может, и не было. Иногда он поднимал свою огромную голову и смотрел по сторонам. Привыкал к новому месту, где, как ему, может быть, казалось, он и будет теперь жить.

Сергей и сам был бы рад пожить среди этого, пока ещё не тронутого людьми мира. Среди пожелтевшей листвы и под чистым, голубым небом это казалось особенно приятным.

Совсем рядом, в зарослях клёна и бархата, шумела речка. Там всегда было сумрачно и прохладно. Надо было наладить удочку и попробовать половить наутро.

Гуран лежал на крылечке и неотрывно наблюдал за всеми действиями хозяина.

Неожиданно он вскинул морду и наострил уши. Лаял он в крайних случаях, особенно после ранения. Теперь же он устремил свой взгляд вверх, в глухой осиновый распадок, куда Сергей ходил редко, потому как не любил те места из-за непролазной чащи.

Сначала ему показалось, как будто выстрелили один раз. Вроде как что-то хлопнуло. Даже эха не было.

— Ну, кто бы там шарился? — выругался Сергей. — Вот жизнь! Всюду народ. Нигде нет продыху.

Он по привычке стал вычислять, кто бы это мог быть.

«Да кто угодно! Хоть и Баклаша. Его места. Домик он вроде как официально купил. За дрова, но всё-таки. Фрукт ещё тот. Другого такого во всём районе не сыскать. Из-под стоячего подошву вырвет. Но тогда дорогой было бы видно. Следы не спрячешь. Это значит, кто-то полканил в этом околотке не первый день, на Кедровой же не зря кто-то сидел. А если не со Столбового, то по Манжурке пришёл. Выходило, что это мог быть кто угодно и откуда угодно. Народу в районе пруд пруди: наркоманов, бродяг разного рода. А ну как заявятся? Что тогда? Тесниться? Чужие портянки нюхать! Вот тебе и отдохнул!»

Так разволновался Сергей, что даже разозлился. Неожиданно на память пришла и прошлогодняя

встреча. Будто подсказывало сердце, что это не случайно. И откуда взялись тогда на пути. Молодые парни лет по девятнадцать! Щенки. А взгляд уже недобрый и скользкий. Словно нашкодили. На конях. Ружей, правда, не было. Потом уже подумал, что могли быть с обрезам. Какие из них охотники, так, шакальё.

Удивился он тогда, даже растерялся. Чего по лесу бродить. За каким лешим. А кони откуда? Понятно, что ворованные. Потом дошло до него, что они искали в тайге. Сейчас все что-то искали. На фермах, в чужих огородах, в лесу. Бродили и рыскали как одержимые. В основном искали коноплю. Не от хорошей жизни, конечно. Но от этого весь народ сделался больным, злым и недоверчивым. И не видеть этого не мог только слепой или дурак. Но придумано неплохо. Не всякая милиция сунется в такую глушь.

А на следующий день подстрелили Гуранушку. Вот так. Кому как не этим. Эх! Встретить да спросить. И морду набить, чтобы не шлялись где не положено. Спросить-то Сергей мог по всей форме, поскольку работал в лесхозе. Но в тайге медведь начальник.

На плите уже аппетитно булькала похлёбка. Запах пробудил в нём чувство голода и отвлёк от неприятных мыслей. Он подобрал с земли старую, помятую посудину, служившую пойлушкой для всех пришедших собак, и налил, чтобы остывало.

Его удивило, что Гуран даже не повёл ухом. Пёс продолжал внимательно смотреть в серый распадок, и его задрожавшее время от времени поднималось от волнения.

— Ну, и что ты учуял там, калека? Тебе бы рвануть на зверя, да вот беда, колесо пробито. Ничего не поделаешь, — подшучивал над псом Сергей. Ему и самому стало вдруг интересно, почему собака порывается с места. — Сиди уж. Не твоя теперь забота. На пенсию ты уже заработал. Твои инвалидные вон в кастрюле остывают.

Кобель вильнул хвостом и вдруг вскочил, несколько раз огласив поляну своим завидным басом. Роста он был немалого. Кем по происхождению приходился ему папаша, Сергей точно не знал, но сука была чистокровной, невероятно крупной шотландской овчаркой, имевшей особую страсть откусывать хвосты у деревенских свиней. Характер у мамы был истинно сучьим. Сам Гуран был лохматым, как овца, чёрным, с притупленной мордой и широким непробиваемым лбом. Пока был здоровым, Гуран был грозой всех местных собак. Своим нетрадиционным видом он мог вызвать страх даже у искушённых собачников.

Неожиданно кобель рванул в распадок, забыв про свою четвертую лапу, нелепо разбрасывая её в разные стороны.

— Куда тебя понесло! Ну-ка назад! Ко мне! — закричал Сергей, но Гурана уже и след простыл.

— Вот тебе и инвалид. Больше прикидывается. Не потерял бы ногу где.

Удивила та прыть, с которой собака исчезла в подлеске. Впрочем, даже на трёх лапах Гуран продолжал держать лидерство на всех собачьих свадьбах, и редко какая собака в деревне проскакивала мимо его околотка, не поджав хвоста.

Лай доносился уже в километре от пасеки. Меньше всего Сергею хотелось ползти в эти заросли. На то она и была Чашавитой, что вокруг всё было непролазной чащей. В таких джунглях и конь вставал. «А эта сволочь стоит сейчас у гнилого пня и надрыывает свою лужёную глотку», — размышлял Сергей. Он не на шутку разозлился на кобеля, но где-то в душе и его одолевали сомнения. Собака попусту в тайге лаять не будет, да и выстрел был. Не услышит разве что глухой.

Подперев палкой дверь и прихватив дробовик на всякий случай, как не хотел, а поплёлся он за собакой, махнув на всё рукой. Кобель словно звал хозяина, временами меняя интонации своего голоса.

— Нет. Что-то не так, — уже понимал Сергей, продираясь сквозь затянутую густой травой низину.

Лай незаметно переместился, и теперь собака была под самой сопкой.

— Чтоб тебя лесиной задавило! — ругался Сергей, смахивая рукавом со лба пот. Там, на пасеке, в рюкзаке, осталась бутылочка с домашней наливкой, да и похлёбка остывала. Кому же её тогда жрать холодной! А этого дурака несёт чёрт знает куда.

Он уже хотел повернуть обратно, как вдруг услышал отчётливо выстрел. Собака на какое-то время замолкла, Сергей подумал, что, наверно, Гурана пристрелили. Он почему-то перекрестился, но вдруг лай возобновился с ещё большей силой. Сергей остановился, переводя дух и силясь понять, что же там такое. Неведение всё больше волновало его, даже пугало и подстёгивало вперёд. Появилась тропа.

— Э, да тут кто-то ходит.

Сергей отметил, что одним своим концом тропа уходила вниз, через распадок, прямо на лесовозную дорогу, давно брошенную. А по той, на конях, и до деревни не сворачивая.

— Вон ты как придумали.

Не желая всё ещё лезть в гору, он пытался распутать клубок непонятных ему обстоятельств, в то время как дело уже шло к вечеру.

«А может, солонец? Зверь подраненный, потому и собака беснуется. Стрельнули в темноте и бросили. Вполне возможно. Но почему тропы от пасеки не увидел, ведь не слепой? Осторожничают кто-то. Андрюшка хозяйничает. В деревне второго такого нет. И украсть, и покараулить. И чужое не пропустит, и своё не отдаст».

О Баклаше разговоров в Столбовом было хоть отбавляй, но чем действительно промышлял Андрю-

ша, никто не ведал. Лес он знал, как свою ладонь. Впрочем, кто его не знал! Ленивым Бакланов не был, особенно до чужого добра. В этом и было его отличие. Кровь в нём играла степная. Даже глаза у него были не такие, как у всех. А какие — Сергею было не понять; прятал он их, не любил смотреть глаза в глаза, как это принято среди людей. Одно слово — конокрад. Но не пойманный не вор. Поговаривали, что и травкой промышлял. Дело рискованное. Как ни посмотри.

— Ну, Андрюша! Ну, завёл-таки, — ругался Сергей, по очереди высвобождая то руки, то ноги. — Вот же выбрал ты место для моей погибели!

Он ещё раз проверил заряды в стволах и поставил ружьё на предохранитель. Уже было понятно, что собака лаяла не напрасно и не на зверя. Но тогда на кого же?

Почувяв хозяина, собака перестала лаять и, выбежав навстречу, пристроилась позади. Когда Сергей останавливался, чтобы перевести дух, Гуран забегал вперёд и начинал скулить.

— Ну, что там у тебя, показывай свою добычу. Ёжика небось поставил. Пропастина.

Но скоро всё разрешилось. Как он и предполагал, это была кабанья кормушка. Всюду были заячьи тропы, копанина, изрытые свиньями корни молодого осинового подлеска. Было душно.

«Место хорошее выбрали, — подумалось ему. — Хоть хорони. Не в жизнь не сыщут».

Но его романтическое настроение вмиг рассеялось. Как только он вышел на поляну, где с краю, в десяти метрах возвышался старый дуб, обвешанный для маскировки мешками, то сразу увидел человека в камуфляже. Это был паренёк. Ещё не успевшая вылинять форма была вся в грязи. Тело его отчего-то вздрагивало.

— Здорова-те. И чего же мы тут. Отдыхам, чшо ли? Ну-ну... В душаччей купальне самое место, — не зная что говорить, пошутил Сергей, этим обращая на себя внимание. Но через секунду ему уже всё было ясно и понятно, и от этой ясности по телу пробежал неприятный холод.

Он увидел, что верхняя часть бедра и вся левая штанина, до колена, была в крови, липкой и густой, вызвавшей у Сергея дурноту. Крови человека он не терпел.

В сторонке он увидел старый корпус из-под улья, сверху которого была прилажена одностволка. Там же, отсвечивая лучи солнца, он заметил витками свернувшуюся нитку оборванной рамочной проволоки. Пошарив глазами, Сергей увидел валявшийся в сторонке худенький вещмешок и обрез, которому он совсем не удивился.

— Самострел, стало быть. Охотнички... — выругался Сергей, уставившись на смотрящую из густоты точку воронёного ствола. Он механически полез в

карман за куревом. Руки тряслись от страха. Разорвав тёрку и испортив десяток спичек, он с трудом прикурил и сел на землю. Ноги уже не держали.

Парень лежал на боку, в неестественном положении, и почти не двигался.

Сергей сделал несколько коротких затяжек и только после этого начал лихорадочно думать. Сознание заработало, он резко вскочил и поискал глазами свой дробовик.

Гуран сидел рядом и внимательно наблюдал за хозяином. Сергей погладил пса, снял с него ошейник и подошёл к пареньку. Осмотрев ногу, он аккуратно просунул брезентовый ошейник меж ног, почти у самого паха, и медленно перетянул ногу.

Вся левая штанина, липкая и почерневшая, была заполнена студенистой, похожей на кисель кровью. Но это было не самое страшное. Хуже было то, что зарядом картечи, а в этом он не сомневался, угодило в кость. Держалась нога только на мясе да на сухожилиях.

Он взял ружьё, отцепил от него ремень, потом разломил его и вдруг задумался.

Всё это время парень смотрел, следил за ним. Гуры его, искусанные и разбухшие, застыли в гримасе.

— А... Это ты верно придумал. Добить, чшо ли, решил? Правильно. Валяй, — тихо почти прошептал он.

— Заткнись! Тебя не спросили, — почти заорал Сергей. — Добить-то было бы правильно. Одним говном на свете меньше было бы. — Он вынул заряды, потом отцепил ремень от ружья. — Жопу бы тебе солью. Жаль, нету. Чтоб не лез, куда не следует. Шляются как бездомные. Охотники.

Он взял первый подвернувшийся кол, оставшийся лишним при сооружении сидьбы, и приладил его к ноге парня.

— Держи лучше. И закрой свой рот, пока совсем не разозлил.

Стараясь не касаться руками ткани, он притянул палку к ноге ниже колена. Для второй стяжки ему пришлось снять собственный ремень. Сергей что есть силы стянул его на поясе паренька и уже мягче сказал:

— Давай-ка, паря, залазь мне на горб. Знаю, что больно тебе, но делать-то нечего.

Он поставил парня на ноги, повернулся спиной и подсел, вытирая пот со лба.

— Не тяни, время-то против нас работает. Вишь, как попали мы с тобой. Как пчела в мёде. Крепко держись! Чтоб ветками не сшибло. Не волоком тащить же тебя.

Парень молча обхватил шею Сергея и, стиснув зубы, подтянул тело на спину.

— Ну, сейчас терпи. Не скули. Про Машеньку и медведя-то помнишь?

Сергей слегка подбросил ношу и аккуратно, стараясь не задевать кустов, пошёл вниз, оставляя в

мягком чернозёме набитой зверями тропы чёткие вмятины своих сапог. Впереди кандыбал Гуран, временами оглядываясь и дожидаясь хозяина. Такое поведение пса было новым, но вполне понятным. Кобель знал, что требуется от него, и, как мог, старался помогать.

Спускаясь с ряжа, медленно переставляя ноги, Сергей всё больше чувствовал усталость и одышку. Надо было чаще останавливаться. До сих пор сказывался спешный подъём, а наверху было не до отдыха. От пота разъедало глаза, ноги тряслись и не держали тела. Он боялся, что его подкосит и он рухнет. Пока шёл — искал решение. Оно было единственным: что есть духу лететь на Кедровую, а там уже видно будет. Если будет машина, то хорошо. А вдруг съехали? Или бродить ушли по сопкам. Искать-то некогда будет.

Бросать этого сопляка одного было страшно. Откуда ему знать, сколько тот протянет? Рана, даже беглым взглядом, была плохой. А у него ни бинтов, ни лекарств.

— Ну и задал ты мне задачку, дядя. Что молчишь?

Ответа Сергей не ждал. Парень держался, как мог, и лишь временами стонал. Подолгу задерживал дыхание и потом так же долго, со скрипом выдыхал.

Долгожданный отдых уходил на десятый план. Туда же уходила рыбалка с душистой ухой и рёв изюбрей. Всё летело к чёртовой матери. Но сожаления большого по этому поводу Сергей почему-то не испытывал. Не давал покоя самострел, и мысли об этом отвлекали от тяжёлого спуска.

— Потерпи, раз такое дело. Тебя силком не тянули, так что терпи, — говорил Сергей. — Дойдём как-нибудь. Казак должен терпеть. Да не души ты меня! Уже не вижу ни хрена, — срывался Сергей и переходил на мат.

— С коноплём свяжешься, всё к одному. Дело известное.

Гуран ушёл вперёд. Вскоре вышли в низину, и показался домик. Дым из трубы не шёл, дверь всё так же была припёрта палкой.

С трудом добравшись до пасеки и не размышляя ни секунды, Сергей оседлал коня. Вырубив пару хороших жердин, он быстро соорудил волокушу, притянул её тонкими концами к седлу и скрепил поперечинами. Это дело для него было не новым. С обработкой раны было куда сложнее. Пока Сергей возился с волокушей, парень раскис ещё больше. Побелевший, он полулежал у крыльца и, как маятник, истерично мотал головой, закусывая губы.

Сергей уже не спрашивал, а только приказывал — почти кричал, едва сдерживая свои нервы:

— Стисни зубы и терпи! Не падай, говорю. Как я тебя, дохлого, на волокушу-то посажу?

Достав нож, он отрезал часть отяжелевшей штанины и, сжав челюсть, преодолевая страх и тошноту,

очистил рану от грязи. Кровь не шла. Он откупорил бутылку и вылил немного прямо на рану. Вместо бинтов в ход пошла его походная простыня. Здесь же других тряпок не водилось.

Одну из полос он смочил самогонкой, истратив почти всё. Потом отхлебнул сам и, не зная для чего, заставил допить, прямо с горла, парня. Потом он аккуратно снял удавку, освобождая посиневшую ногу, и, когда застоявшаяся кровь снова пошла наружу, стал обматывать рану, истратив на это всю простыню. Теперь дело было за малым. Успеть.

Не теряя времени, он направил коня на Кедровую. Пока вёл коня — молил Бога, чтобы с неё не съехали и чтобы там была машина. Даже до Союзного, где стояла погранзаезда, было без малого двадцать километров. Но и этот путь казался ему непреодолимым.

Дорога вымотала его окончательно. Эмоции захлёстывали через край. Несколько раз он останавливался, чтобы перевести дыхание и глотнуть из реки, благо, вода была рядом.

С трудом одолев брод и болотину (конь то и дело прорывал копытами слабый дёрн непрорыхляющей дороги), он добрался до Кедровой. Каково же было его отчаяние, когда он увидел, что пасека пуста. Но опять выручил Гуран. Обнюхав все углы и метки, он рванул на своих троих по ещё свежему колёсному следу.

«Ну, конечно. Догнать ещё не поздно». Сергей отвязал волокушу и, бросив свою ношу, пустил коня в галоп.

Это был шестьдесят шестой. Хозяина он хорошо знал.

Пришлось основательно поругаться, чтобы уговорить Мишку вернуться. Машина с трудом развернулась на узкой тропе, едва не угодив в глубокую канаву обеими мостами. Утром Мишане повезло, он кого-то убил и возвращался в Никольское с добычей. В кузове лежало прикрытое ветками мясо, и ему совсем не улыбалась перспектива встретиться на дороге с кем-нибудь из стражей порядка. Машина его была без техосмотра, приспособленная только для тайги. Прав на вождение у него тоже не было, да и кому они в тайге были нужны. В этом краю мастерство требовалось, умение, а не права.

Махнув на всё рукой, Мишка «ударил по коробке» и рванул на полную, увозя в кузове полуживого парня. Уже потом, когда перестали трястись руки и остыла от гонки разгорячённая голова, Сергей подумал, что даже не знает имени этого пацана. Только когда он снова остался наедине с собой, в сумеречной тишине леса, ему вдруг стало по-настоящему жаль этого ещё не знавшего жизни паренька, который и по возрасту годился ему в сыновья.

Через неделю всё от того же Мишки он узнал, что парня не спасли и даже не довезли до больницы жи-

вым. Растрясло его в дороге. А может, сказалась большая потеря крови. Это уже было не важно для Сергея. Помотали тогда нервы Мишке в милиции. С трудом машину отстоял. Да и Сергею досталось хлопот. Что да как. Да где ружьё от того ремня. А парень тогда на полпути остановил Мишку. Может, чувствовал, что не доедет. Курить захотел. Разговорился. Вспомнил и про то, как в шутку по собаке пальнул, а через год увидел её в лесу. Узнал. А на Чашавите он конечно же коноплю искал. И нашёл-таки.

Кто поставил самострел? Так ли это было важно для Сергея. Даже думать об этом человеке не хотелось, не человек это был, нелюдь. А доказывать кому-то, что всё это неспроста, что беда у народа случилась... Это было бесполезно. Не в цене он был, народ-то. Вот наркотик дорогого стоил! Потому наезжало по осени со всего края собирателей и ловцов. И что поражало: все в одинаковой форме. Выходило так, будто все они в одной команде были, да только страдать приходится народу лесному.

А Гуран и сейчас часто сидит у ворот посреди дороги, высматривает по привычке кого-то. Соседи на него жалуются: воем по ночам. А Сергею жаль собаку, но в тайгу он его больше не берёт.

БЕРЕГА

Вначале были китайцы. Вернее, неожиданная стычка с целой дюжиной узкоглазых, хозяйничавших на протоке. Цепь событий, сходящихся в одном, на котором споткнулась вся его жизнь и застопорилось всё его сознание, почему-то начиналась именно с той неожиданной встречи на берегу, где среди китайцев Матвей случайно встретил своего старого закадычного друга.

Был жаркий август. Тогда Матвей промышлял рыбалкой, и ему иногда удавалось проскакивать за проволоку, в те заповедные места, где хоть немного ловилась рыба.

Возню на берегу он слышал ещё издали. С протоки тянуло прохладой, и потому сначала он услышал, а потом увидел спящих по берегу людей.

— Вот же сучьи дети, — выругался Матвей вслух. Он был один и уже жалел, что не стал дожидаться товарища, почему-то задержавшегося на заставе. Одному было не страшно, но как-то некомфортно. Сперва он хотел залечь и понаблюдать, но вдруг подумал, с какой стати прятаться. Земля его, русская. Они чужие, вот пусть и боятся. Заметив его, кто-то блеснул линзами бинокля, все тотчас бросили свои дела и уставились на идущего к берегу человека. Некоторые кинулись к лодкам, но их остановили.

«Не тот уже китаец, что когда-то в панике кидался врассыпную, — думал Матвей, неуверенно

подходя к берегу. — Знает, что ни черта ему не будет от пограничников. А от него, обыкновенного мужика, тем более. Хорошо бы не накостыляли ещё. Сколько их? С десяток, больше?» Медленно приближаясь к китайцам, Матвей изучал людей, пытаясь узнать хоть кого-нибудь из своих старых знакомых. Уже на своём личном опыте он хорошо знал, что с соседями лучше не шутить и тем более не показывать страха, особенно, когда их много. Один такой случай ему ясно дал понять, что сила китайцев не только в их количестве, но и в их удивительной организованности, словно это были не люди, а муравьи. Однажды в тайге, в сорокаградусный мороз, на деляне, их выползло из обычного железного вагончика человек двадцать. Вагончик не отапливался печкой, как это водилось у местных лесорубов. Они грелись своим собственным теплом. Услышав команду старшего, они в считанные минуты, руками, без рукавиц, одетые в пиджачки, загрузили его машину дровами под самый верх, после чего так же дружно, словно в волшебный ларец, спрятались в свой вагончик. Ни трубы, ни дыма. Никто, кроме китайцев, на такое способен не был. Другой случай буквально парализовал местных «хозяев тайги». Было это тоже в тайге и тоже зимой. Китаёзы вели себя по-хозяйски, особенно первое время, рубили всё подряд. А на узкой дороге уступать и не собирались. На их беду, а может и не на беду, у местных мужиков, оказавшихся на их пути, был карабин. Там и Матвею нашлось место. Как водится, были под «мухой», ну и положили обнаглевших китайцев мордами в снег. Пусть, мол, знают наших. Попугали да и уехали. Кому-то и по зубам досталось. За Даманский, наверное, мстили. А на следующий день трясли всех как старые тряпки. А звонок был не из какого-нибудь Биробиджана или Хабаровска, а из самой Москвы. Вот это уровень. Не до шуток было местным «Робингудам».

— Сами прикормили, а теперь не плачь, — бурчал Матвей, вспоминая события минувших лет. От тяжёлой ноши лицо и спину уже заливало потом; на плечо давила его старая резиновая лодка. Рядом с китайскими десятиметровыми посудинами она воспринималась как поплавок от удочки. А те в своих джонках вели себя на чужом берегу спокойно и уверенно. Не боялись. Чуть что — прыг в лодку, и уже на другом берегу. Только их и видели. Обидно было годами терпеть всё это безобразие, смотреть, как залезают в карман и при этом нагло улыбаются.

Что-то сломалось тогда в душе Матвея. Не выдержал он, взорвался. Может, все копившееся годами: унижения перед начальниками застав, безработица, будь она неладна, а может, вызывающее, наглое поведение китайцев в русской среде — подстегнуло Матвея, сделало злым и несдержанным на весь белый свет, но в особенности на соседей.

Поравнявшись с первым, уже тянувшим засаленную рыбой руку для знакомства, Матвей бесцеремонно оттолкнул его в сторону, бросил на землю мешок с лодкой и, не желая ни с кем встречаться взглядом, зная, что столкнётся лишь с угодливостью и лукавством, стал разбирать поклажу. Он сразу почувствовал, как все напряглись, бросили свои сетки и стали наблюдать за Матвеем. Через минуту, придя в себя, китайцы шумно загалдели, выказывая своё недовольство. Кто-то подошёл к нему вплотную, нагло заглянул ему в глаза и, тыча пальцем, коверкая слова, произнёс:

— Сыдеса рыба нету ни...

Больше всего Матвея поразило то, как органично китаец дополнил фразу русским матом. Не стерпев такой наглости, Матвей ударил его по руке, выпрямился во весь свой рост и что есть силы рывкнул сразу всем, чтобы проваливали с его берега. Речь была недолгой, но объёмной, содержащей, как и положено в таких случаях, все обороты народного фольклора.

Кто-то зацокал языком, выказывая восторг, кому-то не понравилось, и через секунду вокруг него собралась целая толпа.

— Ну, ну, кто первый? лягушачье племя, — проорывал Матвей, вытаскивая из мешка и на глазах у китайцев собирая части дюралевого весла. — Так приложу, что ни один гроб не выпрямит!

Матвей сделал для уверенности шаг вперёд, замечая, как меняются в лице его новые знакомые. Абсолютно не чувствуя страха, испытывая невероятную твёрдость в руке, он уже готов был окрестить первого попавшегося на глаза. И вдруг услышал:

— Ай, ай, опять Матвея бунит, как пьяныя медведь. Бу хао, Матвейей, нехорошо.

Растерявшись, он опустил весло и огляделся. Что-то ужасно знакомое показалось ему в голосе. Вдруг из толпы вышел Кван, его давнишний дружок, кого среди многих, даже русских, Матвей, не сомневаясь, мог считать своим другом. Вспышка ярости в одно мгновение превратилась в восторг, а затем и в оглушительный смех всей толпы. Потом его ещё кто-то узнал, били по плечу, дружески толкали, тыкали пальцем на его лодку и смеялись. Даже предлагали в шутку меняться — его резиновую душегубку на большую железную джонку.

Всё это потом не раз всплывало в памяти Матвея, вызывая по очереди то смех, а то обиду за своё ничтожное положение.

Откуда ни возьмись, навалило новых китайцев, после чего Матвею казалось, что он на базарной площади. Его завалили едой; тогда он опять изрядно выпил, как обычно, шумел, а напоследок, когда китайцы спохватились и стали спешно собираться, даже поменялся с Кваном часами, в знак нерушимой дружбы русских и китайцев. Потом ему было тошно

и противно оттого, как он вёл себя. Как цирковой медведь с балабайкой, выплясывал, обнимался и даже лез целоваться, проявляя русское радушие.

Может быть, так и надо было вести себя среди гостей. Быть хозяином, с которого, наверно, китайцы брали пример и учились тоже быть немного русскими. Этого Матвей ещё не знал.

Потом, когда все убрались, наконец-то появился Лукинец, его дружок, и тоже под мухой. Человек, без которого ни пропуск за проволоку, ни рыбалка были бы неосуществимы для Матвея.

И всё незаметно забылось, затёрлось бытовой суетой в коротких рывках и потугах за нелёгким заработком. Но незаметно в череде событий та стычка на берегу и мимолётная встреча с Кваном почему-то заняли своё особое место в его истории.

После августовских последних тёплых дней пошла морось. Ни солнце, ни дождь. В огородах всё окончательно раскисло, река вздулась, а пограничники, преследуя какие-то свои шкурные интересы, повесили на ворота огромный замок, показывая тем самым всем местным рыбакам большой кукиш.

Тем временем потихоньку стали вывозить с кочёвок своё добро пчеловоды. Многие из них не жаловались на взятки, а кое-кто и вовсе был доволен собранным мёдом.

На марях, куда ни глянь, везде цвела серпуха. Набухая в сыром и тёплом воздухе, а потом и лопнув, она наполнила воздух тяжелым и густым ароматом. Всюду стояли кочевые пасеки, и народ, как мог, брал от природы самый большой и бесценный дар — мёд. Скупая природа словно проснулась под занавес лета, улыбалась человеку и всему живому мягким светом и теплом августовских ночей.

Повсюду только и слышалось:

— Во всех рамках запечатано, аж брызжет!

— Забелили-то, что сметаной. Вот бы на липу такое.

— Рамки-то, хоть новые вошины отстраивай, всё залепили, не оторвёшь! Тяжелющцы, заразы, рукой-то не взять.

И все только и делали, что под мёд тару искали.

Один Матвей помалкивал. Нечем ему было хвалиться. Пчёлы его, все разом, взяли да и сдохли весной. Не сдюжили. А почему, Матвей понял только потом, оттого и помалкивал. Знал только, что без пчёл не жизнь, а тоска зелёная, позор и стыд. А ещё гольная нищета. Слонялся по селу без дела с опухшими глазами от бессонных ночей, злой на весь белый свет за свалившиеся на его седую голову неудачи. За недоучившуюся и бросившую институт дочку. За пустые улья и поеденные молью вошины. За огромный долг в магазине, набранный женой, за её слепую любовь к детям и готовность отдать последнее ради их благополучия. И оттого, что не видел Матвей перед собой виновника всех своих бед,

жизнь вдруг превратилась для него в серое однообразное полотно с огромными дырами, словно это был старый пустой мешок, изгрызенный мышами.

Проходил день, наступал вечер. Допоздна он, отделившись от всех домашних, просиживал на полутёмной веранде и тупо глядел на тусклую лампочку. Свет от неё всегда притягивал к себе. И не только его взгляд, но и всякую летающую нечисть. То и дело лампочка вздрагивала от ударов очумелых мотыльков и мигала. По её горячей поверхности умудрялись ползать божьи коровки, вокруг кружили мухи, и Матвей, на короткое время забывая о своих проблемах, никак не мог взять в толк, на что им эта лампочка и в чём же такая притягательная сила света. Посиживая на небольшом берёзовом чурбачке, он не переставая курил, не осознавая, что так же, как и насекомые вокруг лампы, и вокруг него витают и путаются пред глазами, ударяясь о его сознание, затем проникают в самые глубины мозга тысячи самых разных и ненужных мыслей и идей, не позволяя видеть самой жизни, а лишь её отражение, иллюзию.

Выкуривая одну сигарету, он лез за другой и так в одиночку проживал, а точнее прожигал, свою жизнь.

Опять была ссора за ужином, отчего он никак не мог прийти в себя. Не мог взять в толк, почему глупые бабы затевают скандалы именно за столом, когда вокруг полно народу, особенно детей. В сотый раз ставив в пустоту пар, сидел Матвей, прислонив голову к деревянной стене, и думал о своей дурной судьбе. О бесполом быте, о брошенной за заборм бесколёсной машине, о том, что, нищий и злой, он не нужен никому, даже самому себе. Он никак не мог взять в толк, почему время так меняет людей и его самого. Буквально обезображивает ту жизнь, которая окружает его. И что же тогда заставляет то самое время так влиять на его жизнь? Что, как не те самые люди, с их страстями и пороками. Иногда сквозь завесу неурядиц и проблем в сознании наступало просветление. Неожиданно прорывалось ниоткуда звонкое журчание невидимых ручьёв и запах зелёной травы. Потом всё исчезало, и он снова оказывался под одинокой тусклой лампочкой.

В дверь постучали. Недовольно бурча, он нехотя поднялся.

— Кого там черти носят? Не заперто.

Оказался сосед, как всегда навеселе и в одних носках. Его праздник продолжался уже второй месяц, за что Матвей одновременно и завидовал соседу, и тихо ненавидел. Плавно переходя из глубокого запоя в затяжное похмелье, сосед не переставал удивлять не только своей немецкой педантичностью, с которой он регулярно напивался до белых чертей, но и живучестью, оставаясь при этом добрым и весёлым человеком. Иногда его запой длились, не переставая, по несколько суток, и всем казалось, что это его

последняя пьянка. Но здоровое сердце Белича продолжало биться, а крепкая, как чугун, голова выдавала очередное желание — нажраться. Так, на глазах Матвея проходили годы жизни человека, у которого вместо сердца, вероятно, был пламенный мотор, требующий постоянного топлива.

Сосед слегка покачивался и, как всегда блуждая своими колючками глаз, тянул свои широкие ладони для приветствия.

— Что, гуляли гули, да последние лапти пропили? Не хочу тебя видеть, пьянчужка, — пробасил Матвей, грубо оттолкнув Белича, чтобы не дышать его перегаром.

— А ты не серчай, хозяин, — прохрипел Белич. — Мои лапти далеко не уйдут. Тока свистну, враз дорожку домой найдут. — Белич попытался свистеть, вышли одни слюни, но это никак не отразилось на его настроении. — Давай, Матвеюшка, лучше закурим с твоей печали. А хошь, можно и покрепче чего-нибудь. За этим дело не встанет.

— Кому говорят, отстань, — негромко пробасил Матвей уже не так злобно. Появление Белича, хоть и пьяного, немного смягчило его. Он достал новую сигарету и сунул её в рот. — Кури, если хочешь, со своего горя. А в моё не лезь, — пробурчал Матвей.

— А какое моё горе? Моё горе давно в стакане утонуло, Матвеюшка, — засмеялся Белич, лениво заваливаясь прямо на пол. Голова его с полусонными, остекленелыми глазами мотнулась на высокой загорелой шее, потом зависла в пространстве, негромко ударилась затылком о деревянную стену и загнула, в то время как руки автоматически шарили в карманах брюк в поисках спичек.

— Ширинку застегни, срамота.

— Это, как грится... — забормотал Белич, — старый орёл из гнезда не выпадет.

— Скажи ещё — борозды не испортит, — усмехнулся Матвей. — Орла-то по полёту видно. Захочет полетать, дай знак, я за дробовиком схожу.

Голова в знак согласия мотнулась и снова замерла.

Было и привычно, и странно наблюдать раздвоенное сознание человека, но оно происходило на глазах Матвея неоднократно.

— О чём думаешь, голова проспиртованная?

Матвею вдруг захотелось поговорить. Было время, когда они с Беличем неплохо охотились. Это было хорошее время.

Богатый совхоз, соя, пшеница... А ещё была машина на ходу и бессонные ночи, полные риска и весёлого задора, тёмные и безлунные, с жадными до выпивки сторожами и комбайнёрами. Теперь не было ничего. Ни совхоза с набитыми закромами, ни полных до краёв бункеров, ни комбайнов, ни его машины. Не было и Белича. От него оставалась лишь наполненная до отказа самогоном ёмкость, отдалённо напоминавшая человека. Но ёмкость всё-таки

ещё оставалась живой и могла говорить. Немного помолчав, она сказала, а точнее, спросила:

— Пора тебе, Матвеюшка, на волю, крылышки свои орлиные расправить, косточки старые размять. Застоялся, поди, коняга старая, вон как озлобел. На людей кидаешься. С соседом своим здороваться не хочешь.

Каким образом Белич успел разглядеть в тёмном углу подсумок с патронами, было непонятно. Матвею иногда казалось, что пьяный Белич и есть то настоящее, что живёт по соседству. А во всё остальное время это подделка. И что тот способен проникать в чужие мысли, читать их, как свои собственные. Может, поэтому паслась в доме соседа вся деревенская пьянь, прогуливая последнее, лишь бы быть в весёлой компании с Беличем. К тому же у того когда-то были золотые руки и светлая голова в области механики, когда он немного просыхал. Белич был уникальным.

— Ты каво же там забыл? — вдруг ожил Белич. — Там ты, чо думаешь, тишина и птички поют? — пробубнил он, ещё не понятый Матвеем. — Хрена! Там теперь китайцев, что мышей на зернотоке.

Белич вдруг открыл глаза и снова увидел Матвея.

— Сосед... А давай покурим, раз такое дело.

— Какое дело? — недовольно спросил Матвей, чувствуя, как постепенно начинает сердиться.

— Ваше не наше, — пробурчал Белич и снова закрыл глаза. Матвей вздохнул. Сначала он хотел вывести Белича со двора, но подумал, что тот может полезть в драку, а с пьяным какая драка... Возня.

— Чего китайцы-то? — уже мягче спросил Матвей, зажигая спичку и протягивая её вытянувшему, как жираф, шею соседу. Как и все пьяные, Белич долго прикуривал мимо спички. С трудом подпалил самый краешек сигареты, долго пытел, но всё-таки затянулся длинной затяжкой и как будто съел её содержимое, ничего не выдохнув.

— Да ты с луны свалился, что ли. Гляжу я на тебя, паря... Вроде с ушами, глаза на месте... Ты когда-нибудь на улицу выходишь? Чего китайцы... Таво китайцы! Пилить будут у нас в тайге. Лес себе готовить. А наших дураков за тарелку супа в работники набирать. Места рабочие дают. Не слыхал?

— Не удивил, — буркнул Матвей, не желая говорить на болезную тему.

— А это не всё, — язвительно продолжил Белич. — Они, вон, в Берёзовом прииск купили, заезжают нынче со всем своим барахлом. Драгу тянули за проволокой. Такую дуру протащили... Народ видел. Так что открывай сезон отстрела. Будем вместо лап медвежьих китайцев сдавать.

Белич откровенно рассмеялся, а Матвею стало не до веселья. Он вдруг вспомнил, как когда-то не мог дожждаться «скорой помощи», когда жил на Поликарповке, за проволокой. Тогда «скорая» простояла у

ворот полдня, а его помощник в это время загибался от аппендицита. И загнулся бы, если бы не настойчивость медиков. Видите ли, не было разрешения, чтобы оказать помощь больному человеку. А у китайцев, выходит, такое разрешение нашлось.

— Ты чего мелешь, — взъелся вдруг Матвей. — Кто их за проволоку пустит?

Но Белич, хоть и пьяный, был вполне серьёзен. Тянул сигарету и тупо смотрел Матвеем в глаза.

— Продали нас, сосед, со всеми потрохами. А ты не знал? Будет у нас теперь Еврейско-Китайская автономия. А ещё слышал? Им Октябрьную отдают в аренду, — понижая голос, сказал Белич.

Матвей вдруг увидел, как по щекам Белича покатались слёзы.

— Чего, мол, ей пустой стоять. Пусть прибыль даёт. А кому? Там хоть затянуло последние годы после мелиораторов. Коза появилась, фазаны... Нет! Надо продать! А меня почему-то не спросили. Пятьдесят тыщ га! Это сколь земли? А ты мне — пьяная морда. А что ещё делать, как не пить.

Белич ещё что-то бормотал. Матвеем вдруг стало душно, он вышел во двор и встал под звёздами, ощутив всю нестерпимость своего бытия, ужасную тесноту и безвыходность жизни. Возбуждённый новыми мыслями, он не заметил, как из темноты вынырнула Белка. словно чувствуя состояние хозяина, собака уселась у его ног и заскулила. Молодая сучка чем-то напоминала ту, старую Белку, умную и добрую, но, к сожалению, была бесполезной в охоте. Он нагнулся и запустил пальцы в её густую и тёплую шерсть.

— Вот такие наши дела, собака. Будешь шляться где ни попадя, поймают и продадут за бутылку ханжи китайцам. А те из тебя бульон сварят.

Он взял собаку за шиворот и поднял, заглядывая в самые зрачки. Но, кроме слепой врождённой преданности и страха, ничего в них не увидел.

Незаметно летели дни. В хлопотах и мелких ссорах с домашними он никак не мог вырваться на паеку. Впрочем, его лесное хозяйство уже давно не оправдывало своего названия. Скорее, это было пристанище для бродяг вроде Матвея. По-прежнему его одолевала мысли, и от их тяжести Матвей уже не был способен видеть того, что окружало его. Он даже пытался записывать, интуитивно понимая, что от них надо как-то избавляться. Но не хватало ни сообразности, ни способностей, а порой и обычного традиционного листка бумаги.

Поначалу ему нравилось. Это был непрерывный монолог, и от этого, осознавая себя человеком думающим, он уже свысока смотрел на окружающих его людей. Но постепенно мыслей прибывало. Были и такие, что жили в нём постоянно, и на их фоне жизнь со всеми радостями вдруг стала мер-

кнуть, и весь он, где бы и с кем ни находился, оставался во власти своего внутреннего мира. Пестуя в сознании высокие идеи, Матвей постепенно стал осознавать, как утрачивает способность просто жить и радоваться, если, конечно, не считать случайных выпивок.

Бессонными ночами, сбивая под собой в комок все простыни и подушки, он часами не мог уснуть, ощущая тысячи витавших вокруг него образов и идей. словно не было для них другой свободной головы, а только его. И все они, скопившись над ним, ждали, словно искали лазейку, чтобы протиснуться и поселиться в нём навсегда. Многие давно обжились в его голове, успешно развиваясь и увеличиваясь в объёме.

Нищета, пьянство и разврат, бездушные дети и жидовство... Всё это волновало его душу, ходило за ним длинным хвостом, а когда наступала ночь, становилось той жуткой действительностью, рядом с которой его настоящая жизнь меркла. Закрыв глаза, блуждая среди абстрактных цветных пятен, он вдруг почему-то начинал искать какую-то кнопку, нажав которую можно было решить все проблемы мира: уменьшить численность китайцев, избавить от жадности своих лучших друзей, пережившихся на еврейский бабах, вылечить от пьянства Белича... Но кнопка ускользала в бесконечном пространстве мозга, Матвей в сотый раз переворачивался на другой бок, и всё начиналось сначала. Прошло немало времени, прежде чем он осознал, что это обыкновенный бред, и все идеи, что осеняли его, тоже бредовые, и никакой кнопки в природе нет, а если и имеется таковая, то как он сможет нажать её, решая за других, не представляя, сколько должно быть на земле китайцев, алкоголиков и на ком должны жениться его соседи. Самое печальное было в том, что, сколько бы он ни думал и ни говорил о грядущей катастрофе, срывая глотку, вокруг ничего не менялось. Китайцев был миллиард, и каждый из этого числа в день, наверное, съедая по лягушке. Евреи продолжали скупать и продавать всё подряд, пили водку вместе с русскими и пели любимые всеми песни. Китайцы тем временем заполняли пустоты в русской жизни, осваивали язык и женились на русских бабах. Буквально вгрызаясь в русскую жизнь, они тут же меняли её облик, изменяли даже сознание русского народа, и это было самым удивительным и страшным для Матвея.

— Ну почему я без работы! — бил себя в грудь Матвей, открывая близким то, что не давало ему покоя. — Что я, инвалид, на детское пособие жить! Они, значит, наш лес под корень, золотишком, вон, побаловаться решили. А то непонятно, что этим пронырам лишь бы место занять на нашей земле. А теперь ещё и рисом нас завалят. А нашему брату чего делать? В холопы к ним? Или в бандиты?

Начинаясь вполне мирно, такие беседы заканчивались стучаньем кулаком по столу, вырыванием воротников и разлитой самогонкой. До пены накричавшись, переставая порой даже видеть вокруг себя, Матвей вдруг вскакивал, разрывая пуговицы рубашки, и пулей вылетал из дома, опасаясь, что может наделать глупостей.

Это было странным, но ноги всякий раз несли его на берег Амура, к воде, и та с покорностью принимала все наболевшее в его душе. Проходили минуты, и он вновь обретал спокойствие, снова видел, как течёт река, шуршит под ногами песок. Неосознанно он снимал башмаки, закатывал до колен штанины и заходил в воду, всё ещё чистую и прохладную, хотя с годами и та становилась всё мутнее и мутнее. Остановившись глазами на прозрачной глади, он низко кланялся реке, опуская в воду руки, и держал их долго-долго. Вода мягко соприкасалась с его ладонями, под ступнями шевелилось песчаное дно, а из глубины вылетали напуганные стайки мальков.

Река не менялась, по-прежнему разделяя принадлежащие ей берега. Почти бегом спускаясь с высокого берега, он всегда видел пустынный, словно брошенный берег и камни, огромные, самые разные по форме, разбросанные по всему берегу. Село тянулось на добрых три километра, и на всём этом протяжении берег был усыпан этими камнями. Может, где-то были берега и красивее. С этим Матвей не спорил, но твёрдо знал, что ему нужен только этот берег и эта река. В который раз оказавшись в тишине, наедине с водой, смыв с себя дневную суету и хмельной осадок, Матвей уже не тащил за собой ворох осточертелых мыслей, а только смотрел, как уходит дневной свет, как тускнеет далеко за Амуром небосвод, вычерчивая силуэты сопки Большого Хингана, как из глубины поднимается рыба, оставляя на гладкой поверхности круги, потому как нет большей тайны в природе, чем тайна зелёного леса и речной глубины.

Собрав по привычке несколько прозрачных камушков, он забросил их подальше, загадывая желание. Где-то его ждали проблемы, и Матвей конечно же осознавал, что одним броском камня от них не избавиться.

Его окликнули. На крутяке, восседая на крупном жеребце, поджидал мальчуган лет восьми, а может, и меньше. Пацанёнок был тощим и чумазым, что было вполне естественно для деревенской детворы. Он заправски правил огромным конём, сдерживая суровыми командами и поводьями необузданный нор своего раба. Седла под ним не было, и казалось, что наездник сросся со спиной жеребца. Тот был почти чёрным, тёмно-коричневой гнедой масти, таращил глаза по сторонам, стараясь улавливать каждую мысль своего маленького хозяина, и всё время хотел выплюнуть удила.

— Дя Матвей, — звучно прокричал мальчуган. — Папка вам кобылу просил пригнать. Она там, во дворе стоит. Только овса ей сразу много не давайте. Разопрёт ишо.

Матвей усмехнулся и махнул в знак согласия рукой. Малец крутанулся на спине жеребца, а потом воткнул в его толстые бока свои острые пятки, умудрившись поднять коня на дыбки. Ухватившись одной рукой за гриву, другой натягивая повод, ловко развернув коня, он галопом полетел вдоль обрывистой кромки берега, при этом дико гикая, всё больше раззадоривая скакуна.

Матвей ещё некоторое время стоял, словно обдумывая произошедшее, потом, не оборачиваясь, на ходу прихватив брошенную обувь, потянулся к дому.

Сидеть пришлось ещё три дня. Не было денег, чтобы купить хлеба, держали семейные дрязги. Взятая напрокат кобыла также не внушала доверия своим видом. С разбитой от постоянной езды под седлом хребтиной, худая от вечного недоедания, она была похожа на обтянутый кожей скелет. Он так и прозвал её — Арматурой, хотя у кобылы наверняка было другое, более привлекательное, имя. У неё были разбиты передние копыта, до язв изъедена голова и острижен хвост. Как выражались иногда местные «коневоды», по самую репицу. Но лошадь стояла спокойно, тянула свою изъеденную морду к рукам и не жаловалась на свою тяжёлую судьбу. Жевала без остановки свежескошенную огородную траву, изредка поглядывая на опрокинутый и уже опорожнённый ею тазик из-под овса.

— Отстоится пару деньков и будет в норме, — успокаивал Матвей собравшихся вокруг невидали домочадцев. Все дружно вспоминали Ермачка, заодно примеряли его седло, пожухшее и поеденное молью.

— Кобылы, они привычные к работе. Главное для них — отдых, — наставлял Матвей своего младшего. — И корм, конечно.

Выносливость, трудолюбие, стойкость к коварам, привязанность к дому, а главное, безропотная покорность человеку, и эта последняя особенность лошадей более всего вызывала в Матвее самое глубокое чувство уважения к этому животному. И ничем другим объяснить это качество он не мог, кроме как способностью самого человека подчинять.

Сборы были недолгими.

— Казаку собраться, что нищему подпоясаться, — шутил Матвей, легко поднимая в руках скудные припасы.

— Ты и на это не заработал, — язвила жена, нехотя поглядывая на хлопоты мужа. — Вон, огород травой зарос, шёл бы туда и охотился на здоровье. Чем

тебе не тайга. Выкосил бы, чем по лесам бегать от семейной жизни.

— Я буду огороды косить, а они что же, на танцульки бегать? — забасил Матвей. — Пока деньги носил в дом, значит, хороший был. Неприкосновенный. А теперь в огород. На хлеб, значит, не заработал? Или я должен в совхозе рубль в час зарабатывать? А может, к китайцам, живот надрывать. Вон ты как, баба, заговорила, — вспылил он, покрываясь красной краской. — Ты рыбу забыла, как всей улице раздавала. А каково её по осени из воды голыми руками вытаскивать, знаешь? А что с телевизором сотворили? За него коня отдать пришлось. Барахла полный дом навозил, а теперь, стало быть, обузой стал. В огород раком стоять посылаешь. А кто потом со мной дела иметь станет, ты подумала?

— Не велика честь, — подливала масла в огонь жена, бросившая стряпню и уже занявшая позицию для атаки.

Потом конечно же был скандал. Досталось всем, даже тем, кто случайно проходил мимо.

Спать он так и не лёг. Что последнее было в пачке — докурил, дождался, когда затихло во дворах, тихо собрался и ушёл, даже не закрыв за собой воротину. Потом оглянулся и подумал: «К покойнику».

Поздний рассвет застал Матвея уже на половине пути, когда он, окоченевший от утреннего тумана, сполз с седла и занялся костром. Долго согревался, переваривая в голове недавние сцены из последнего семейного спектакля. Он не в силах был понять, что нужно женщине в её бабьей жизни от мужика. Дело было не в деньгах, не в работе и даже не в пчёлах, за которых ему изъели всю плешь. Ей было необходимо, чтобы он горел. Он и сам замечал за другими, что не терпит уныния и пустых глаз, но более всего озлобленности. А это как раз и являло его личный портрет. Потому и бесилась баба. Мужик ей был вроде баланса, кладовой. А не будь его, то и она съезжать начинает, беситься. А его огонь в глазах уже только тлел. А кому, как не жене, это было заметно.

Дорога между тем упёрлась в его пасеку. Вернее, кобыла своей мордой уткнулась в ограду. Потом, сидя на крыльце, успев только стащить с лошади седло, он задумался, а была ли она, дорога. И если была, то где тогда был он и что видел? Солнце клонилось к вечеру, шумел ручей, а Матвей сидел с тяжёлыми руками на коленях, пытался вспомнить то, что было ещё утром, и не мог. Словно ехал с мешком на голове. Лишь одна картина врезалась в его память: тихая, пустая, бесконечно длинная улица села с чёрными, пугающими силуэтами домов, воющие от тоски цепные псы за высокими заборами да одинокая, заблудшая в проулке душа. Словно это было время красного террора. Где-то в окне чиркнули спичкой и зажгли лампу. Матвей тогда остановился и долго не мог понять, что это. Во всём этом было что-то зловещее,

неприятное, словно ожившие рассказы деда о далёком, страшном времени. Потом до него дошло, что в деревне тогда вырубili электричество, а он лишь случайно оказался этому свидетелем.

После были пустые хлопоты по хозяйству, скорый ужин. Он не стал топить печь. Была не то лень, а может, и апатия ко всему, что когда-то согревало его душу и тело. Ночью ему опять не спалось, а когда он всё же выключился, стало и того хуже. Снова явилась дорога, его долгий путь на пасеку, но уже совсем в другой реальности. В пути ему встретились китайцы, и потом он не мог взять в толк, что они забыли так далеко от Амура. Кажется, дошло до мордобоя, а после он проснулся.

Поднявшись засветло, он накопил травы для лошади, начисто промочив себя росой. На удивление, это наполнило его лёгкостью, сняло хандру и злобу. Ещё немного потолкавшись по двору, доделывая брошенное с вечера, к восходу солнца он уже был на тропе, получая огромное удовольствие от новой, сухой, чистой одежды и свежего, слегка прохладного воздуха.

Когда-то по Манжурке стояло несколько пасек. Уходя вверх по течению лесной речки, они словно забирались в самую глушь, и последняя — Чашавитая, уже не пасека, а так, притон для всякого сброда, упиралась в самые дебри. Небольшой утлый домишко, почти до самой крыши заросший бурьяном, на удивление тёплый в зимние холода, служил пристанищем для безработной столбовской молодежи, промышлявшей одновременно и коноплёт, и диким мясом, а также всеми видами лесного сырья. В поисках заработка они без боязни пилили лес, собирали ягоду, ловили рыбу, и, наверное, не было такого времени, когда Чашавитая пустовала. Не обходили стороной и Кедровое. Так именовали Матвеево хозяйство, растаскивая помаленьку, досочка за досочкой, его добро. И в этом была упрямая логика жизни. Дожидала свои последние времена и Грушевая, мимо которой проходила дорога на Кедровую, а вместе с ней и Моховая, чей хозяин по прозвищу Петух давно махнул рукой на всё, что когда-то кормило его и делало жизнь наполненной и интересной.

Лишь Матвей всё ещё тужился и пыжился, тянул последние жилы, чтобы сохранить своё лесное добро. Его могли сжечь, обворовать, разобрать под шумок постройки... Не щадили пасеку и косолапые... Всё это не давало покоя по ночам, когда он подолгу не выезжал из деревни, невольно называя Кедровое своим вторым домом.

К вечеру, хоть и не повстречав желанной добычи, Матвей уже знал всё, что творилось в околотке. По наличию орешки было видно всю миграцию кабана. Белки, снующие повсюду, рассказали ему, что в хвойник соваться — пустое дело, и весь зверь держится в дубняках, нагуливая бока на желудях и ли-

повых семенах. Все дороги были истоптаны медвежьими следами, а одни «валенки» прямо-таки удивили Матвея своими размерами. И хотя не раз доводилось ему сталкиваться с мишками нос к носу, эти следы были для него диковиной.

Лес по-прежнему жил своей жизнью, понятной немногим. Это радовало Матвея, вселяя надежду на будущее. Ободряло и то, что в радиусе десяти километров он не встретил ни одной человеческой души, чувствуя себя полноправным хозяином леса.

Можно по-разному охотиться, и, если не вникать в тонкости этого ремесла, может показаться, что это наполненная приключениями прогулка по лесу, что можно брести или красться с ружьём наперевес, и тайга обязательно подарит что-нибудь из своих запасов.

Если бы это было так... Ещё в раннем детстве Матвей узнал, что охота — это нечто другое, состоящее из терпения, ожидания, а порой и невыносимых физических усилий, и только в последнюю очередь из азарта. Не один азарт гнал человека по лесным дебрям. Была ещё нужда и крайняя необходимость. И только она по-настоящему могла оправдать смерть зверя. Азарт же являл собой непостижимое явление, благодаря которому охотник преодолевал непреодолимое, становясь сильнее своей жертвы. И тогда человеческое сознание уподоблялось сознанию зверя. А вместе с ним и слух, и зрение, и даже восприятие запахов становились такими же, как и у лесных обитателей. Именно тогда, по мнению Матвея, и начиналась самая настоящая охота. А до этого он часами и сутками бродил и рыскал, подобно волку, прислушиваясь к звукам и шорохам леса. Застывал на долгие минуты, задерживая дыхание, чтобы вычленить, отделить от тысячи едва уловимых колебаний воздуха тот звук, который принадлежал зверю. И для этого совсем необязательно было лезть в непролазную чащу, где его мог выдать собственный шум, где упавший с дерева лист мог шуметь, словно сорванное с крыши кровельное железо. В поисках встречи Матвей ходил по старым лесным дорогам, геометрия которых, словно паутина, была с самого детства отпечатана в его памяти. Прислушиваясь к звукам, уподобляясь тем, на кого он охотился, Матвей ловил себя на мысли, что в эти мгновения больше ни о чём не думает, что голова его чиста, а значит, это и есть настоящая жизнь. Уже к сумеркам, двигаясь по заросшим колеям, голодный и изнурённый постоянным напряжением, он опять ощущал на себе тяжесть возвращающихся в него мыслей. Блуждая по лабиринтам своего сознания, он уже боялся, что однажды заблудится в них и не сможет больше вырваться на свободу, в тот мир, который окружает его.

А потом явилась медведица. Её высокую горбушу он спутал с кабаньей. У него так и вырвалось вслух —

секач. Огромный, уверенный в себе зверь спокойно трусил, скрытый зарослями орешника, и Матвея поразила та виртуозная бесшумная поступь гиганта, с которой он двигался по земле. Как Матвей и ожидал, зверь остановился перед дорогой. Скрытый легиной, он стал рыться в земле, выдавая своё присутствие лишь торчащим поверх кустов горбом. Выстрел был в область лопаток, но короткий стволник вкладыша выдал сильную отдачу, и Матвей буквально увидел, как трассерная пуля, завывив полёт, ударила по шерсти, скашивая позади зверя зелёную листву. Тот ухнул и стал кататься в конвульсиях по траве. Матвей мгновенно разломил дробовик, чтобы поменять патрон, но в это мгновение вдруг услышал шорох в стороне от себя. Мимо него, прямо к дороге, буквально распластавшись по земле, летел медвежонок. Матвея аж подбросило от осознания, что в пятнадцати метрах от него кувyrкается раненая медведица. Но до этого он по инерции, в азарте выпустил по летящей мишени оба заряда, осознавая, что палит мимо. Медвежонок истощно заорал, припустив ещё сильнее, и через секунду скрылся в зарослях. Его жалобный плач ещё долго разносился эхом по уходящим от ряжа стрелкам.

Осторожно подойдя к месту, где затих зверь, Матвей с удивлением увидел пустую полянку. Вокруг всё было изломано, везде валялись клочья медвежьей шерсти и нестерпимо воняло медвежатиной. Следы тянулись в глубокий распадок, и, пройдя по следу волочившей задние ноги медведицы, Матвей понял, что ранил её в область позвоночника. Началу лёжки были частыми. Зверь оставлял на них не только свой особенный запах, но и капли крови на кустах. Постепенно кровь прекратилась, а вскоре следы потянулись в противоположный ряж. По-прежнему слышался скулёж детёныша; он звал свою мамку, и то, что медведь пошёл вверх, доказывало, что рана была не смертельная. А значит, медведица должна была оклематься. Не испытывая угрызений совести за понапрасну загубленного зверя, который мог в конце концов достаться воронам, Матвей оставил преследование и повернул обратно. Потом он пожалел, что смалодушничал, ведь каждая медвежья лапа у китайцев была на вес золота.

После этой встречи были и другие, накапливая в душе Матвея лишь досаду и разочарование. Секунды азарта превращались в часы уныния и хандры, а сам Матвей, желая освободиться от тяжёлого чувства невезения, уходил от своей пасеки всё дальше и дальше. Забирался всё выше в сопки и там, в каменистых россыпях, лишь изредка окидывая взглядом бесконечный горизонт, подолгу сидел в укрытии, отдаваясь бесплодным размышлениям о жизни. Где-то в голубой дымке проглядывала тёмная лента Амура, а за рекой уходила в бесконечную даль чужая территория, откуда иногда доносились самые причудливые

звуки. Порой ему хотелось махнуть в те края, спуститься к Амуру и опустить в его воды свои руки.

Обнаруживая в себе это дикое желание, он давно осознал, что на Кедровой его уже ничто не держит, что работы, которой всегда хватало при наличии пчёл, на пасеке нет, а всё остальное было сделано ещё в первые дни. Потому пребывание на одном месте незаметно превращалось в пытку. Недобытое мясо всё ещё бегало где-то в ряжах и упорно не желало ложиться под его прицел. И хотя с голоду Матвей не подыхал, факт бездействия уже действовал ему на нервы. Только позднее он догадался, что давно соскучился по живому общению с людьми.

Однажды, вернувшись с рыбалки, он застал на пасеке гостей, поджидавших его на крыльчке. В дом они не заходили, и Матвей воспринял это как хороший знак.

— Гость с утра — жди веселья, — пошутил Матвей, вытряхивая из заплечной сумки свой улов. — Чшо, потеряли чего или так? — умышленно выделяя шипящие, спросил Матвей. — На ловца и зверь бежит. Зверь-то из-под ног выскакивает, а стрелки настоящие перевелись.

Гостей было двое. Одного из них, районного охотоведа, Матвей знал неплохо, но вот так, нос к носу, встречался впервые. Второй, одетый по-военному, был ему незнаком. Не спрашивая, тот достал ещё не распечатанную пачку сигарет и предложил Матвею. Сергей Мандрусов, так звали охотоведа, курил дешёвую «Приму».

После долгого воздержания, сделав пару затяжек, Матвей закашлялся, чем вызвал неподдельный смех.

— Может, чайку с дороги? — спросил он, поглядывая на чистую обувь гостей. — Плита с утра ещё тёплая, а чайник и вовсе.

— Да машину перед ручьём бросили, — ответил Сергей, как будто оправдываясь за свои начищенные сапоги. — От чая грех отказаться. Чай пить — не дрова рубить.

— А можно и чего посерьёзнее, — встрял до этого молчавший военный.

— Давно хотел с тобой поближе познакомиться, — сказал Мандрус, переступая порог дома и оглядываясь по сторонам. — Вот случай и свёл.

Даже не взглянув на дробовик, стоявший, как и принято на пасеках, у двери, он уселся на выставленный табурет и бросил на стол свои сигареты.

— Тут вот какое дело, — как-то неуверенно, но с подтекстом важных обстоятельств начал Мандрус, приглашая ближе и самого Матвея, и своего приятеля.

А дело было в следующем...

Где-то между Белой и Берёзовым кто-то цинично порезал проволоку, то самое заграждение, что ограничивало доступ в пограничную зону, и перешёл границу. Каким-то чудом бойцам удалось обнаружить

брешь и следы, ведущие в тыл. Матвей узнал, что людей прошло несколько, а с какой целью и куда, сами пограничники конечно же знать не могли. Случай этот буквально взорвал и без того напряжённые будни всех прилегающих застав. Все срочно кинулись на поимку нарушителей, хлебнув в тайге горя, утопив при этом в болоте две машины. В конце концов, испив всю чашу таёжных трудностей и расписавшись в бессилии перед фактом нарушения границы, пограничники обратились за помощью к местным. Был у этой истории и финал. Через два дня китайцы вернулись обратно и напоролись на пограничный секрет именно там, где проделали кусачками дырку в «заборе». Конечно, было нелепо со стороны пограничников караулить диверсантов. Но, как видно, сработал один и тот же принцип мышления, и китайцы, не подозревая, что их ждут именно там, нарвались на команду «стой, кто идёт». Одного из них живым, одного ранили, да серьёзно, и не довезли.

— Кто-то ещё бежит, — закончил лейтенант, допивая остывший чай. — Так что имей в виду, товарищ Декин, когда увидишь кого незнакомого.

Пока переваривали сказанное, готовилась уха. Сергей сходил в «уазик» за тем, что было серьёзнее чая, и до вечера, пока солнце не позолотило макушки деревьев, Матвей уже не вставал из-за стола. Потом Сергей бегал ещё раз, а Матвей, дабы не упасть лицом в грязь, вынес из ледника последние остатки молочного поросёнка. Так что гости только к позднему вечеру вспомнили об истинной причине своего визита.

Прощались недолго, но горячо. Хрустели натруженными руками, благо, народ местный крепок на пожатие. Оставшись один, Матвей ещё долго смотрел и слушал, как, елозя по ещё не просохшим колеям, удаляется в темноте трудяга «уазик».

Его слегка покачивало от выпитого самогона, шумело в голове от изрядности принятой дозы, а на душе до удивления было спокойно.

А затем пришёл тот самый день.

Давно надо было возвращаться, но появляться в доме с пустыми руками было неловко. Все запасы еды закончились, были съедены последние сухари, и это было самым печальным. С вечера Матвей замесил последние остатки муки, а поднявшись с первыми лучами, растопил плиту и на весёлом огне наскоро приготовил себе завтрак. Варённую в мундирах картошку посыпал солью, макал её в подсолнечное масло и ел прямо с кожурой. Вместо хлеба заедал ещё тёплой лепёшкой. Этих лепёшек он нажарил в дорогу несколько и в общем уже был готов ехать домой. Собирая свой нехитрый скарб, Матвей искоса наблюдал за кобылой. Она не паслась, а стояла на ветерке, подставив утреннему солнцу свои уже округлившиеся бока. Обходясь всё время без её помощи,

Матвей впервые обнаружил, что это уже совсем другая лошадь. Не старая, разбитая кляча, какой её пригнали ему во двор, а настоящий боевой товарищ.

— Нет, подружка. Не жирно ли будет нам сразу в стойло? — обратился он к животному, как к человеку. А ещё он вспомнил, что за аренду лошади надо будет расплачиваться, что-то давать. А договаривались на мясо, которое по-прежнему бегало по лесу. — Аренду надо отрабатывать, — уже начав размышлять вслух, сам себе сказал Матвей.

В голове просквозила свежая идея, и через полчаса он уже держал путь по старой лесовозной дороге высоко в ряж. Там он решил спуститься в сторону Амура в Белую, а дальше, что бог пошлёт. Места те были дикими и неезженными, с непуганым зверьём, и ему могло повезти. Благо, нарезной ствол, сотворённый местным умельцем, стрелял всё ещё хорошо, а пуль в запасе хватило бы на маленькую войну с Китаем. По дороге он мог настрелять рябчиков; на худой конец, и этой мелочью можно было рассчитаться за кобылу.

Вместо того чтобы вернуться старым путём, низинной дорогой вдоль Манжурки, он повернул свой транспорт направо, где дорога уходила круто в гору. Оказавшись на распутье, лошадь, по свойственной ей привычке, долго сопротивлялась, и её, как стрелку компаса, долго тянуло на проторенную дорогу. Качество это у лошадей было очень ценным, особенно в темноте. Но на этот раз за желание кобылы сэкономить время Матвей долго ругал животное, а в конце даже выломал для угрозы сухую палку, после чего Арматура уже не делала попыток свернуть с намеченного пути, а шла прямо, доказав тем самым, что лошади тоже обладают разумом.

Дорога пестрела следами, из кустов с диким шумом вылетали рябчики. Некоторые из них тут же садились на ветки и, с любопытством вертя пёстрыми головками, наблюдали за Матвеем. Пару раз он снимал дробовик и даже прицеливался, но безобидность и глупость пернатых полностью разоружали его, вызывая жалость. В душе он был доволен тем, что птицы не боятся его, а вскоре и вовсе заменил дробь на картечь. Поднявшись в верха, он повёл лошадь в поводу, давая передышку и своему заду, и животному. Иногда он останавливался и долго слушал лес. Кобыла тем временем припадала к траве, иногда тоже отрывала морду от еды и вслушивалась в лесные шорохи. По опыту Матвей знал, что среди коней нередко были случаи охотничьего пристрастия. Кони неплохо чуяли добычу, видели в полной темноте и даже могли идти по следу подранка. Поэтому, когда кобыла в очередной раз напрягла уши и подняла шею, Матвей так же, как и она, напряг все свои органы чувств. Он уже спускался одной из стрелок, что тянулись, словно лапки многоногой ящерицы, вниз, и подбирался к скалкам, нависающим над глубоким

распадом. Матвей частенько, особенно зимой, прибежал к такому способу скрадывать добычу. Под камнями любили собираться кабаны. Нередко под защитой нависающих стен делали себе лёжки козы и изюбри. И то, что под скалками мог отдыхать зверь, было вполне естественным. Оставив кобылу, Матвей подобрался к скалкам и долго не решался высовывать голову. За камнями было тихо, а значит, зверь мог замереть, и тогда любое движение могло всё испортить. И вдруг он увидел, как со стороны, огибая гряду камней, за которыми он прятался, выскочили две козы. Подпрыгивая, словно пружиня, они вертели головами и смотрели вниз.

По инерции он вскинул дробовик, но тут же поймал себя на мысли, что не попадёт по бегущим козам. Однако остановило его не только это. Было очевидно, что животных что-то напугало, и это что-то было там, в глубине распада.

Матвей обошёл скалы, выбрал небольшой валун и стал ждать. Поглядывая на часы, которые он надел, уходя с пасеки, он засёк время и уже лежал без движения почти полчаса. Он уже начал волноваться за оставленную наверху лошадь, засомневался в себе и подумал уходить, как наконец до его ушей долетел едва уловимый шорох. Из глубины распада, скрытое листвою, что-то медленно двигалось вверх. Сперва это был лишь слабый шум, но постепенно Матвей стал различать ритмичность шагов и наконец отчетливо услышал, как в его направлении движется зверь. У него уже не было сомнений в том, что это медведь. Временами шорох замолкал, и Матвей, используя своё воображение и опыт, дорисовывал картину действий животного. Скрытый резким перепадом зверь останавливался, наверняка садился на задницу и когтями срывал с кустов листья. Было слышно, как тот ворошит лапами землю и ищет корешки. Это был медведь.

Матвей разом представил, как решит все свои финансовые проблемы, как реабилитирует своё доброе имя в глазах домочадцев. Он уже прикидывал, на что потратит деньги с продажи лап и шкуры. Тут были и желчь, и мясо... На Матвея двигалось целое богатство. Он почувствовал, как взмокла его спина, как пересохло в горле; он последний раз проверил стволы, убедившись, что пуля там, где ей надлежало быть. Пальцы его слегка тряслись, не находя курков; ему вдруг стало любопытно и страшно от предстоящей схватки со зверем. Но, отсчитывая каждый такт движения, Матвей постепенно стал осознавать, что это вовсе не медведь и вообще не зверь. В висках его застучало ещё сильнее, он вжался в камень и ждал. Теперь он слышал не просто шорох шагов, до него доносилось дыхание.

Одетый в камуфляжную форму, наподобие той, что была на пограничнике, на Матвея, опустив низко голову, слегка покачиваясь, шёл человек. Матвей

выдохнул от разочарования и уже хотел подняться, как вдруг понял, что это не пограничник, а один из китайцев. Вместо автомата за спиной у него громоздился небольшой вещевой мешок, а в руке обычная палка. Китаец неожиданно остановился и стал смотреть по сторонам. Делал он это с небольшими интервалами, и уже одно это волновало Матвея. Китаец долго смотрел в его сторону и в какой-то момент даже встретился взглядом с ним. Потом сделал шаг и стал уходить влево. Всё это время Матвей держал незнакомца на мушке. Он конечно же помнил недавний разговор и, прокручивая в голове хронику минувших событий, вдруг осознал, что стоит перед серьёзной задачей. Перед ним, по сути, был враг и, возможно, очень опасный. Матвей не раз был свидетелем бесцеремонного поведения китайцев на Амуре и был к этому привычным, но здесь, за десятки километров от границы, он испытывал только растерянность. Китаец уже стал отдаляться, и Матвей чувствовал, как воля покидает его, а вместе с ней и способность принять решение. И вдруг на его руке пикнули часы.

Сигнал их был настолько звонким, что Матвею, пока он жил на Кедровой, пришлось даже снять их. Тогда он никак не мог отключить этот проклятый сигнал.

Китаец резко остановился и оглянулся, видимо, осознав, что за ним наблюдают. Его правая рука скользнула за пазуху, и Матвей догадался, что там оружие. Пальцы его судорожно дёрнулись, потом раздался выстрел.

Он долго не решался встать из своего укрытия. Осмысливая происходящее, он почувствовал, как внутри всё стало опускаться, словно всё, что находилось внутри него, разрушилось, и устремилось вниз. Тело вдруг стало ватным и непослушным. Он долго не мог справиться со слабостью и всё это время, не отрываясь, смотрел на лежащего без движения человека. Когда часы снова пикнули, он понял, что с момента выстрела прошёл целый час.

Наконец Матвей медленно поднялся и, оглядываясь по сторонам, словно был не один, подошёл. Потом присел на корточки и, стараясь не смотреть, взял левую руку, другая так и осталась во внутреннем кармане. От удара пули тело развернуло, и теперь китаец лежал лицом вниз. Не нащупав пульса, Матвей бросил руку на землю, рукав немного задрался, обнажив смуглую кожу. И тут Матвей вздрогнул. На руке были часы, очень похожие на его старые механические часы. Одним движением он развернул тело и в этот момент почувствовал, как в груди что-то шевельнулось. Завалившись на колени, он ударил кулаками по земле и замычал.

Это был Кван. Из-за большой шетины на подбородке и опухших век он долго не мог признать в нём того человека, которого видел последний раз на про-

токе. Словно в насмешку, рот его слегка улыбался, а правая рука вместо оружия сжимала пачку сигарет. В ней оставалось две.

Обратный путь он проделал без остановок, едва не загнав кобылу до смерти, ни разу не вылезая из седла и ни разу не оглянувшись. Уже на половине дороги, в сумерках, он резко развернул лошадь и галопом погнал её обратно, осознав, что бросать человека, пусть даже мёртвого, в лесу нельзя. Он ещё не знал, что будет делать там, но единственным его желанием было вернуться. Несмотря на темноту, он без труда нашёл то самое место, но там никого не было. Уже не различая следов на земле, испытывая досаду, он сделал несколько кругов в надежде, что найдет тело. Он долго принохивался, полагая, что здесь уже успел побывать медведь, но ничего медвежьего в радиусе ста метров он не почувствовал. Измотав себя окончательно и запутавшись в мыслях, он пошёл обратно. Только потом до него дошло, что тело забрал кто-то из своих, китайцев. А значит, за ним могли наблюдать с самого начала. Его могли даже выследить. Во всяком случае, для Матвея подобная задача решалась в два счёта. Теперь оставалось только ждать.

Он почти не выходил из дома и старался избегать всяких встреч, проводя всё дневное время в спальне. По ночам он видел одну и ту же картину, и единственным его желанием было хоть как-то повлиять на происходящее, изменить его. Потом начались проблемы со здоровьем. Не испытывая определённых болей, он почувствовал, как тело его начинает слабеть. Он с удивлением стал замечать, как мёрзнет на ветру, как едва передвигает ноги и не может справляться с обычной работой по хозяйству. Иногда, проходя мимо зеркала, он на секунду останавливался и с ужасом замечал, как постарел, буквально одряхлел словно старик.

А потом был визит. В ту зиму, как никогда, в тайгу понаехало много китайцев. Они готовили лес и, как видно, не справлялись с объёмами. Ездили по сёлам на бортовой машине, нещадно сжигая топливо, и агитировали на работу местных мужиков. Кто-то соглашался, но большинство отказывалось, зная, насколько тяжело китайское ярмо для русского человека.

Однажды машина остановилась и у Матвеева дома. Он сидел на кухне напротив окна и без аппетитаковырялся ложкой в тарелке с супом. Увидев китайца, он немного растерялся, но, вспомнив, что узкоглазые уже месяц укатывают улицы села, пошёл к калитке. Слегка морозило, в воздухе летали лёгкие хлопья снега, и, ощутив на своём лице их приятные прикосновения, Матвей улыбнулся. Закивал непокрытой головой и китаец, растянув рот в типично китайском приветствии. Он сносно поздоровался,

без труда выговаривая все согласные, а потом ткнул пальцем на Матвея и назвал его имя. Матвей немного растерялся, но кивнул. Он почувствовал, как в горле возник ком, машинально он потянулся за куревом и вдруг застыл. Китаец протягивал ему руку, держа на ладони его часы. Те самые, что оставались тогда на Кване. Матвей отшатнулся, но потом взял себя в руки и сделал удивлённое лицо.

— Мне не надо, не нужно, — запротестовал Матвей, имея в виду, что покупать их не желает. — У меня есть свои.

— Эта тываи часы, — гортанно произнёс китаец. Он по-прежнему улыбался, но на лице уже проступали черты обиженного человека. — Кван-Ли пырсила вернуть обратно, — так же уверенно сказал китаец, вероятно имевший хорошую разговорную практику в тайге.

— Но он же... — Матвей вдруг вспыхнул, осознав, что проговорился.

Он кашлянул, заминая начатую фразу, а потом стал раскуривать сигарету, решая, как ему выкрутиться.

— Мы же поменялись с Кваном. Вот его часы. Видишь? Теперь я их ношу, — сказал Матвей, умышленно переходя на упрощённый разговор. Но китаец как будто и не слышал его, держа по-прежнему свою руку вытянутой. — А где он, что с ним? — неуверенно спросил Матвей, стараясь изо всех сил выглядеть непонятливым.

— О! — Китаёза кивнул головой в знак того, что понимает вопрос, потом сделал важное лицо и краем глаза скользнул по небу. — Квана-Ли повысили. Он теперь капитана. У Квана-Ли всё о'кей.

Китаец аккуратно положил часы на столбик, ещё раз ослабилась и пошёл обратно к машине.

Матвей взял часы, как бы пряча их в ладонях, и с силой сжал. Потом приложил их к уху и почему-то удивился тому, что они идут, словно это был не механизм, а сердце Квана.

Конечно, они должны были работать. Обычные механические часы, проверенные жизнью. Матвей выдернул потёртый кожаный ремешок и прочитал хорошо знакомую ему гравировку на корпусе. В глазах неожиданно защемил. Он закрыл глаза, пытаясь остановить слёзы, но вместо этого вызвал их целый поток. Он попытался их остановить, с силой закрывая глаза руками, но их становилось всё больше и больше, словно где-то в глубине его души они копились годами и только сейчас нашли причину для выхода. И вдруг он испытал удивительное облегчение, словно кто-то разжал над ним свои цепкие и тяжёлые объятия.

После того случая Матвей не раз задавал себе вопрос: почему он тогда выстрелил. Было ли это его внутренним желанием или нелепой случайностью, спровоцированной страхом и волнением. Сейчас

же, когда напоминание о Кване явилось ему таким необычным образом, он вдруг подумал, что это уже не важно. Матвей понял, что теперь это часть его жизни и ничего поделать с этим он не сможет.

А однажды, было это в воскресенье, его вдруг осенило. Случайно на шее жены он увидел крестик. Вообще-то видел он его каждый день, но как будто не замечал. Здесь же простая мысль заставила его остановиться. Матвей тоже был крещёным, что среди местных было явлением нечастым. Найдя среди вещей свой старый нательный крестик, уже давно потускневший, он надел его и, не сказав никому ни слова, пошёл в церковь, расположенную на второй улице. Вернее, это был дом, разукрашенный под церковь. Там он купил свечку у отца Анатолия и поставил её в память о своём китайском друге.

Александр Унтила

ЗАПАХИ

Специальная сводная группа ФСБ подорвалась в районе моста через реку Басс. «Фэйсы» выехали ночью на адресное мероприятие в одно из сёл Введенского района. БТР, выделенный от третьего сводного отряда специального назначения, шел головным, за ним бронированный «уазик». Основная масса народа, во главе с командиром, облепила «броню». Операцию планировали провести быстро — информатор предоставил точный адрес, ставка была на эффект неожиданности. Хозяин одного из домов, по предоставленным данным, скрывал у себя подстреленного накануне боевика, необходимо было это дело проверить. Инженерную разведку решили не проводить — иначе какая уж тут внезапность...

Прокравшись вброд через обмелевшую речку параллельно мосту, БТР и УАЗ полезли вверх по грунтовке, ведущей в село. Тут уже по обочине двигаться возможности не было — заборы крайних домов вплотную прилегали к колее. Проволочную паутину, натянутую метрах в трех над дорогой, естественно, никто не заметил.

Командир механизированной группы, капитан Панов, в чьем хозяйстве числились БТРы, давно снимал с машин штыревые антенны. Толку от бортовых радиостанций было мало, для связи экипажи (спасибо спонсорам) использовали более удобные и надежные «Стандарты». Без антенн риск поймать растяжку «верхового» фугаса, которые вошли в моду в этом сезоне, существенно снижался. Бронетранспортер к тому же был оснащен генератором помех — громоздким электронным устройством, «гра-

вицапой», как её обозвали разведчики. Хреновина эта глушила радиоволны в широком диапазоне и призвана была свести к минимуму опасность подрыва на радиоуправляемом взрывном устройстве. Аппаратура имела комплект своих — довольно длинных — антенн и кучу недостатков. Помимо сигналов, посланных со спутниковых телефонов, пейджеров и радиостанций затаившихся с видеокамерами по обочинам боевиков, она успешно глушила всю собственную связь разведчиков и, по непроверенным слухам, крайне отрицательно влияла на мужскую потенцию личного состава. К тому же бронетехника часто использовалась для «тихих» ночных операций — точечных зачисток, вывода и эвакуации разведгрупп, когда элемент скрытности являлся важнейшей составляющей успеха. Все пути-дороги так или иначе проходили вблизи населенных пунктов, и если крадущуюся в темноте на почти холостых оборотах машину, лишённую всех световых приборов, разглядеть было не так-то просто, то по сбившемуся сигналу спутниковых «тарелок», по испортившейся картинке в своих широкодиагональных плоских телевизорах несчастное и угнетённое чеченское население соображало, что на их улице гости. В двухэтажных халупах из итальянского красного кирпича, «восстановленных» на деньги русских налогоплательщиков, начиналась деловая суета. Задерживались занавески за тройными стеклопакетами, из укромных мест извлекались спутниковые телефоны. Днём во дворах начинали чадить сигнальные индейские костры. Система оповещения работала слаженно и чётко. При планировании таких операций командиру отряда приходилось из двух зол выбирать меньшее — либо скрытность и связь, либо радиозащита...

Чем зацепили ту проволочку — антенной «гравицапы» или просто головой сидевшего на броне бойца, уже никогда не узнать, но фугас, начинённый болтами и гайками, сработал безупречно. Рвануло справа. Из девяти человек, расположившихся на броне, пятеро погибли сразу, остальных здорово посеколо. Стальные элементы взрывного устройства прошивали бронежилеты и разгрузки, как пули газету. Командиру группы, сидевшему справа от механика-водителя в открытом люке, волной оторвало голову вместе со «сферой», офицер мешком сполз в десант. Так получилось, что своим телом командир прикрыл бойца, сидевшего за рулем. Рядовой Потапов вел машину «по-походному», положив под задницу короб с патронами от крупнокалиберного танкового пулемета, голова торчала из люка. Солдат ослеп-оглох на пару минут, но остался цел. «Узик», двигавшийся за БТРом на удалении, не пострадал, если не считать срезанного зеркала заднего вида.

Капитан Панов на этот выезд не поехал. Обычно командир мехгруппы выезжал тогда, когда на задачу выделялось две и более единицы бронетехники. В его обязанности входило прикрывать тяжелым вооружением, а при необходимости и бронированным телом машин основные силы колонны, корректировать огонь всех «коробочек». Если же выезжал один БТР, с этими обязанностями справлялись сами командиры разведгрупп. Палыч возился в парке, перебирая с двумя бойцами «стукавший» двигатель. Время близилось к полночи, пора было закругляться, но оставлять работу недоделанной не хотелось. В маленькой палатке, приспособленной под ремонтный бокс, тускло светила лампочка, трещал приемник. Пахло теплым отработанным маслом, кофе и жженым сухим спиртом — на самодельном таганке коптилась железная кружка. Примчался посылный по отряду, сунул под брезентовый полог голову в каске:

— Товарищ капитан... Два БТРа на выезд!

— Что случилось? — Палыч оторвался от работы, вытер лоб замасленным рукавом.

— Не знаю... Вроде с нашими что-то... кто на «адрес» уехал.

Бойцы насторожились, устались на командира.

— Заводите «семнадцатый» и «двадцать первый», выгоняйте на исходную. Оставьте на холостых, пусть греются. Тут порядок наведете — и в палатку.

Панов побежал в свое расположение, на ходу вытирая руки ветошью. Дал команду разбудить экипажи, оделся...

На месте подрыва были минут через сорок. Раненые держались из последних сил. Оставшиеся невредимыми четверо из «узика», соблюдая светомаскировку, в кромешной тьме перевязывали товарищей, кололи промедол.

Палыч первым делом разыскал своих бойцов. Экипаж БТРа прикрывал. В башенный прицел в ночной деревне не многое разглядишь, поэтому солдаты укрылись в придорожной канаве, вооружившись пулеметом фээсбешников. Деревня драла глотку хриплым пёсым лаем, не светилось ни одно окно.

Картина была привычная и страшная. Мёртвые уже лежали в десанте бесформенной грудой и сладко пахли свежим мясом. Раненые были сильно покровлены, особенно пострадали неприкрытые бронежилетами руки-ноги. У одного из офицеров вырвана нижняя челюсть. Парни держались, старались не стонать. Их перенесли в «семнадцатый», и доктор с фельдшером пытались найти у ослабленных кровопотерей людей хоть какие-нибудь вены...

С рассветом пришли вертолеты, отряд от внутренних войск ушел в село проводить широкомасштабную зачистку. Раненый с оторванной челюстью

до эвакуации не дотянул, остальных дикими усилиями доктора удалось отправить живыми.

Палыч с доктором сидели в медпункте, пили чай. И использованные пакетики бросили в переполненное кровью и бинтами ведро. Разговор не клеился, настроение было хуже некуда. Доктор тяжело вздохнул, провел пятерней по стриженной макушке:

— Эх, хорошо духи поработали... Шесть по «двести».

— Да уж... — Палыч поморгал, потер красные от недосыпания глаза. — Ты бы видел, что с БТРом, доктор. С правого борта все навесное сорвало, триплекса вышибло... Потапова у меня контузило маленько... Посмотришь потом?

Доктор кивнул. Панов допил чай и поплёлся в парк. День был жаркий. Солдаты наводили порядок в машинах, заканчивали сборку двигателя. Подраненный БТР стоял чуть поодаль, с правого бока бронированная шкура была усеяна мелкими выщерблинами от стегнувших по ней гаек, от чего приземистая машина была немного похожа на леопарда. Три первых колеса с той же стороны пробиты. Больше всего досталось второму — крышка изодрана в клочья. При эвакуации Палыч с бойцами открутили его и закинули на броню. Освободившийся бортовой редуктор подтянули повыше, приспособив буксировочный трос, дырки в остальных колесах позатыкали гильзами от 7,62 патронов, врубили на полную подкачку и доехали так. Теперь же все эти проблемы необходимо было устранить.

Рядом с машиной возвышалась куча промокшего тряпья. Из десанта вылез пулеметчик, сержант Назаров. Палыч вздрогнул. Назаров стоял в одних трусах и выглядел так, как будто с него содрали кожу. Воин был весь от пяток до макушки перемазан красно-черным, в кисельных сгустках и слизистых разводах. В руках он держал пластмассовое ведро и совок, вырезанный из пустой пластиковой бутылки. Пулеметчик, шурясь, оглядел себя, перевел на командира спокойный и чуть виноватый взгляд.

— Крови с «двухсотых» натекло, товарищ капитан. Все коврики, все сиденья промокли... Второе ведро выношу.

Назар был толковым контрактником. Экипаж этот был самый опытный, тянул вторую командировку. Палыч назначил сержанта своим штатным заместителем и ни разу не пожалел об этом.

Капитан заглянул в на две трети заполненное ведро, зачем-то потрогал густую студенистую массу пальцем.

— Куда выносишь?

— Я там за складом ГСМ яму специальную выкопал, потом засыплю, чтоб мухи не налетели.

Палыч кивнул.

— Коврики сжечь надо будет. Отнесешь на помойку, сольешь литров десять соляры. С комбатом я вопрос решу.

— Так точно.

У Потапова оказалось-таки легкое сотрясение, еще и осколок со спичечную головку в щеке. На скоротечном консилиуме с доктором решено было с ближайшей колонной центрподвоза отправить бойца в Ханкалинский госпиталь, чтобы зафиксировать ранение. Потап пытался было упираться, но Палыч многозначительно показал ему кулачище и строго наказал без справки не возвращаться. Сопровождающим Панов назначил Назарова — пусть зам заодно развеется, в магазин сходит... Отмытый БТР на время отсутствия экипажа закрыли и опечатали.

Назаров с Потаповым вернулись на четвертый день. Механику с его сотрясением полагалось проваляться в госпитале намного дольше, но хитрый воин к предстоящему лечению тщательно подготовился. Прикинувшись дурачком, «забыл» на базе военный билет. Солдата все-таки положили. Тогда он предусмотрительно спрятал форму и ботинки, а вместо них сдал на госпитальный склад драную подменку. Жалобно блея, подкупив врача каким-то трофейным ножиком, он выцыганил себе вожденную справку уже на второй день, достал из-под матраса заныканную амуницию и дал дёру, оставив на кровати записку — «чтоб не волновались». Расторопные контрактники где-то раздобыли шесть блоков сигарет, шмат сала и четыре буханки белого хлеба. Забрали в «отстойнике» письма на весь отряд, и, поймав попутный вертолет, довольные, двинулись восвояси.

Палыч беззлобно отодрал их для профилактики. Сигареты и снесь разделили на группу.

На следующий день на импровизированном стрельбище близ лагеря были запланированы пристрелка оружия и занятия. До полигона было километра полтора, прикрывался он блокпостом с горки, дорога утром перед занятиями проверялась сапёрами, которым в сопровождение выделялся БТР. На этот несложный выезд Панов назначил Назарова с Потаповым — пусть опробуют машину после ремонта и вынужденного простоя.

Утром мехгруппа с командиром вышла на физическую зарядку, экипаж ушел готовить на выезд машину. Солдаты размялись, расползлись по самодельным снарядам и принялись добросовестно качать железо. Палыч забавлялся с гирей, изготовленной из большой жестяной банки и аккумуляторного свинца, подбрасывал ее вверх, отжимал от груди, разгоняя кровь по жилам. Довольно кричал, чувствуя, как просыпаются после короткого сна подраслабившиеся мышцы.

Прибежал Назаров. Лицо у сержанта было бледно-зеленого цвета и идеально гармонировало с тканью застиранного камуфляжа.

— Товарищ... Товарищ капитан... — Назарова трясло, он героически пытался совладать с собой. Проглотил ком, заговорил внятно: — Товарищ капитан, БТР не сможет выехать.

Палыч бросил гирю. Назар был не из тех, кто болтает попусту. Вопросительно глянул.

— Запах... Запах в машине. Воняет страшно.

— Ты же вылизал её всю. Забыл какую-нибудь тряпку?

— Не знаю... — Сержант явно был расстроен и озадачен. В добросовестности проделанной им работы можно было не сомневаться.

Палыч помолчал.

— Ладно. Вам отбой. «Шестнадцатый» на выезд, я сейчас подойду.

Зачерпнув ведром холодной воды из бочки, зашел за палатку, обмылся до пояса. Накинул китель на голое мокрое тело, пошел в парк. Несмотря на ранний час, солнце уже поднялось высоко над горами и начинало припекать, пытаясь подсушить раскатанную парковую грязь. Прыгая по сухим островкам, добрались до машины. Потапов стоял метрах в трех, переминался с ноги на ногу. Капитан подошел к БТРу, повернул ручку бортового люка, потянул. Из чуть нагретой солнцем машины дохнуло теплым...

С чем можно сравнить смрад разлагающейся человеческой плоти? Есть ли на свете запах, способный перебить его? Тяжелый, густой и сладкий, как жирный лосьон, он в мгновение пропитывает одежду, въедается в волосы, липким кляпом перекрывает дыхание. Сложнейший букет, невообразимая смесь миазмов — патока, элитные сорта сыра с плесенью и концентрированное зловоние, от которого, кажется, не отмыться, не продышаться...

Нет приятнее аромата, который излучает тельце новорожденного ребенка в первые дни его жизни, и нет страшнее запаха, который человек же испускает через несколько дней после смерти.

...Палыч аккуратно прикрыл люк, отошел, длинно выдохнул. Постояли, помолчали...

— Назар, ты под поликами вычищал?

— Нет...

— Значит, туда натекло и протухло. Погода теплая, БТР четвертый день на солнце. Сейчас пока все люки нараспашку и пусть постоит. Потом полики надо будет вскрыть.

Капитан упёр в Назарова тяжелый взгляд, тот, сглотнув, кивнул.

БТР мыли неделю. Отогнав его подальше от стоянки, задышавшись, скрутили металлические полики, прикрывавшие трансмиссию, свинтили дренажные

лючки на днище. Промывали водой, соляркой, дефицитным стиральным порошком. Щепочками, старыми зубными щетками, стеклом выскабливали каждый рычажок, каждую тягу.

Запах держался. Вонь, казалось, въелась в металл, пропитала стекло и пластик.

В конце концов разожгли паяльную лампу и прошили огнем по стальным внутренностям машины — там, где это было возможно. Ядовито шипела, вскипая пузырями, серая шаровая краска, дымилось испаряющееся масло...

Дело было сделано, полики прикрутили на место...

Но все равно — тонкий, как паутина, как винное послевкусие, запах смерти продолжал обонятельной галлюцинацией витать под стальными плитами раненой машины.

Командира механизированной группы вызвал комбат. Ибрагимовцы выезжали на какое-то мероприятие в Махкеты, просили в прикрытие два БТРа. С местным «антитеррористическим подразделением» отношения у разведчиков были натянутые. Были среди них нормальные мужики, но в основном бойцы отряда, возглавляемого бывшим полевым командиром, напоминали пиратскую банду. Разномастностью оружия, формы одежды и отсутствием дисциплины они мало чем отличались от бродивших по горам земляков. Среднестатистический «ополченец», «индеец» или «партизан», как предпочитали называть их спецназовцы, выглядел довольно экзотично: клочковатая борода, куртка от армейского камуфляжа (наверняка имеющая пару заштопанных пулевых отверстий), какие-нибудь заношенные псевдоадидасовские трико с раздутыми пузырями-коленками, стоптанные кроссовки. Довершала наряд традиционная чеченская тубетейка и вытертый до белизны, перемотанный изолентой автомат без потерянного где-то дульного тормоза-компенсатора. Несмотря на слабую подготовку и трапезный внешний вид, пальцы у народных мстителей растопыривались веером даже на ногах. Разговаривали партизаны с разведчиками свысока, мешая чеченские слова и русский мат и периодически сплевывая сквозь зубы жеванный насвай. Кое-кто из ибрагимовцев наверняка работал на два фронта, поэтому спиной к ним капитан предпочитал не поворачиваться...

Комбат хотел было вежливо послать просителей, но те заручились поддержкой вновь назначенного командира сводной группы. Фээсбешник по связи объяснил, что задача согласована и его ребята выезжают тоже. Комбат тихо выматерился, но БТРы дал.

В 23.30 двинулись. Замыкающим шел «двадцать первый» с бойцами и командиром специальной сводной группы, головным — отремонтированная и

отмытая «семнашка». Между ними тряслись по каменной дороге все тот же фээсбешный «уазик» и «бронированный» «ЗиЛ-130» ополченцев. Сквозь грубо наляпанную зеленую краску просвечивали синие колхозные борта, обшитые по внутреннему периметру бревнами и мешками с песком. Антитеррористы сидели в кузове, гоготали и грызли семечки, оружие, как садовый инвентарь, торчало у каждого между коленок. Ни дать ни взять — ударники сельского хозяйства едут на полевые работы.

Когда въезжали в деревню, выключили «гравитацию», восстановили связь в колонне. Светила полная луна, видимость была хорошая. Позывной подполковника, командира сводной группы — «Овен». Был он мешковат, суетлив и вообще весь какой-то невоенный. Бойцы, видимо, своего нового командира воспринимали «не очень», так как между собой называли его «кусок овна» — явно недоговаривая при этом в позывном первую букву.

Красивый двухэтажный дом, в котором предположительно находились боевики или «причастные лица», обложили «углом». Палыч отогнал свой БТР на соседнюю улицу, укрыл за домами — машина стояла так, чтобы проверяемое здание было хорошо видно в простенок между ними. Сводная группа на соседней улице спешила с замыкающей «брони». «ЗиЛ» пристроился за капитаном, «уазик» ушел за Овном. Рассредоточились, заняли оборону ближе к дому, в палисадниках. По короткой перепалке в эфире стало ясно, что «Овен» предлагает старшему ибрагимовцев самому досмотреть «адрес», своих же людей оставляет прикрывать. Палыч мысленно поставил подполковнику «плюс» за грамотное решение. В итоге чеченцы горохом высыпали из своей колымаги, в открытую подошли к кованым высоким воротам, заколотили ногами... Самый нетерпеливый перемахнул через забор, открыл воротину изнутри.

Вооруженная ватага пересекла двор, в дальнем углу которого сиял лаком и хромом новенький, иссиня-черный «Мицубиси-Паджеро» с причудливой ярко-оранжевой молнией вдоль борта.

Забарабанили в дверь. «Что они творят? — только и успел подумать Палыч. — Хоть бы рассредоточились да под окнами кто-нибудь встал...»

Дом был расположен к капитану под углом, дистанция метров пятьдесят. Видны две стены — одна с дверью, куда ломились ибрагимовцы, плюс два окна второго этажа. На второй — только окна, по три на этаж. Крыша под красной черепицей, два чердачных окошка — за ними особый контроль. Панов быстренько назначил наводчику ориентиры.

Встал за машиной, поверх брони наблюдая за домом и подступами... Тихо зашипела станция:

— Овен — Палычу, Казбеку.

— Связь.

— Операцией командую я. Без моей команды не стрелять.

— Палыч: «да».

— Казбэк: «да»...

Дверь открыли, старший ибрагимовцев шагнул было внутрь. В недрах дома полыхнула короткая очередь. Переломившись пополам, Казбек покатился с невысоких ступенек, остальные бросились врассыпную. Еще две коротких — уже с чердачного окошка. Еще два силуэта, дрыгая ногами, забились на земле, остальные залегли за ближайшими укрытиями. Железная дверь с грохотом захлопнулась. Единственное светлое окно на втором этаже погасло. Тишина.

— Овен — Палычу...

Пауза.

— Палыч — Овну: Вижу «точку». Огонь?

Пауза.

— Огонь??

— Н...нет, нет, не стрелять, Палыч... Ибрагимовцы где?

— Три по «триста» наблюдаю. Остальные ко мне ползут.

Пауза.

— Овен — Палычу:

— Уходим... Отход.

— А «трехсотые»?

Пауза.

— Овен — Палычу: пусть их свои вытаскивают — и отход.

— Понял.

Ибрагимовцы, пригибаясь, перебежали за БТР. Палыч знал одного из них — Мусу — по прошлым выездам, объяснил ему положение. Посовещавшись, четверо ополченцев побежали к дому... Только первая двойка сунулась на залитый светом луны и фонаря двор, как дом ожил, зазвенел выбитыми стеклами, ошетинились вспышками. Сначала стреляли из верхних окон и с чердака, потом присоединились нижние. Две случайные пули цокнули по броне, вышибая искры, одна, выбив форточку, угодила в кабину «ЗиЛа». В кабине истошно заорал водитель.

— Потап, малый назад!

Взвизгнул стартер, БТР, пыхнув соляркой, попятился.

— Влево! Прямо! Вправо! Прямо! Стоп!

Вильнув по дороге кормой, «семнадцатый» прикрыв собой «ЗиЛ» от обстрела. Ушедшие на эвакуацию раненых ибрагимовцы ёжились за хилыми дворовыми укрытиями. Первая двойка укрылась за великолепным «Паджеро» — по ним, кстати, не стреляли, явно берегли машину, но и высунуться из-за нее у мужиков шансов не было. Тем более вернуться к БТРу. С хрустальным звоном разлетелась фараискатель. Оставшиеся ополченцы перевязывали раненного в плечо водителя «ЗиЛа».

- Палыч — Овну.
- Связь...
- Овен, у меня люди в котле. Надо выводить. Добро на «огонь»?
- А... э-э...
- Понял!

Капитан все это время находился на откинутой нижней створке десантного люка со стороны, противоположной обстрелу. Сунул голову внутрь.

- Назар, работай по чердаку. Короткими: огонь!

Сержант выдохнул «есть» и утопил кнопку электроспуска. Автоматные хлопки сразу утонули в грохоте. Короткая очередь из главного калибра в куски разнесла раму импортного стеклопакета крайнего левого окна, выломала кирпичи из сводчатого проема, вздыбила черепицу. Вспышки МДЗ-снарядов сверкнули внутри помещения расплавленными брызгами. Назар перенес огонь на второе окно...

- Палыч — Овну.
- На связи... На связи...
- Что у тебя там, Палыч?
- Долбят. Пытаюсь людей отвести. Два вышло, еще два за «паджерой». Вы не стреляйте, не раскрывайтесь.

Поздно. Сводной группе тоже захотелось повоевать, со стороны залёгших на соседней улице по дому хлестнули трассы. В ответ сразу открыли плотный огонь с верхних этажей.

Нет худа без добра. Воспользовавшись моментом, двое ибрагимовцев перебежали из-за «паджерика» за БТР. Запоздалые очереди со второго этажа с жестяным громом ударили по воротам.

- Овен, твои отошли?
- Нет, огонь плотный...
- Подключаю броню?
- Давай...

Два БТРа крошили здание. Крупный калибр залетал в окна, рвался внутри, вырывал из кладки гроздь кирпичей. В доме что-то загорелось, повалил дым. Механики, перебравшись к пулеметчикам, меняли короба, соединяя ленты непрерывной цепью. Случилось то, чего капитан больше всего опасался — когда обстреливали верхний этаж, с нижнего в сторону «двадцать первого» метнулся огненный хвост гранатометного выстрела. Граната, зацепив хвостовым оперением забор, свечой ушла вверх в пяти метрах от машины.

- «Двадцать первый», «семнадцатый», длинными по первому!!

Бойцы сводной группы тем временем удачно отошли и принялись лупить по нижнему этажу из своих гранатометов. Из-за БТРа, прокричав «Аллах Акбар», пальнул из своего гранатомета Муса. Ошмётка и кирпичное крошево летели в разные стороны. Верхние этажи продолжали огрызаться. Простенки между окнами постепенно переставали существовать.

Вдруг внутри здания что-то натужно лопнуло, прокатилось волной, ультразвуком срикошетило от зубов, нервов и барабанных перепонок. Из окон вырвались оранжевые шары, черные дымные хлопья — то ли в склад боеприпасов угодили, то ли в газовый баллон. Вылетел правый от входа угол. Дом накренился. Теряя черепичную крышу, просел на один бок и рухнул, взметнув в светлеющий воздух облако кирпичной пыли. «Некачественная постройка», — отметил капитан, присев от неожиданности. Рыжий дым клубами полз от развалин. Муса со своими, пригнувшись, побежали за убитыми, притащили четыре труп. За телами извивались по земле красные ручьи.

Над раскаленным стволом крупнокалиберного танкового пулемета колыхалось марево, из десанта курился пороховой туман. Назар, насквозь мокрый, с красными глазами, на карачках выполз из десанта. Хрипло закашлялся, выхаркивая из легких накопившуюся гарь, закапал на песок потом, слюной и слезами.

Трупы заволокли за БТР, пыхтящий Муса подбежал к Палычу:

- Командыр, у нас вадила ранэн, калесо прастрэлэн, «Зил» бросить нада! Давай убитый тебе в бэтээр?

Палыч взглянул на сочащиеся тела, на смесь протеста и ужаса в вытаращенных глазах Назарова... То ли в воздухе, то ли в закоулках мозга материализовался, поплыл липкой тошнотворной химерой запах гниющей крови...

- Нет, парни, грузите-ка к себе. Водителя я дам, колесо сейчас заменим. Запаска есть?

- Запаска ест, врэмья нэт!

Муса был прав, уходить надо было срочно. Кто знает, сколько в селе боевиков — наверняка не в одном доме все сидели.

В мгновение поддомкратили «Зил», скрутили пробитое колесо, наживили лысую запаску. Других повреждений у машины не было. Чеченцы попрыгали в кузов, на этот раз присели за «броней», оцетинили борта стволами. В кабину «Зила» Палыч посадил Потапова, за руль БТРа сел сам. Второй БТР и «уазик» уже дожидались на перекрестке, башни развернули в разные стороны, задрав стволы — чтобы не зацепить придорожные столбы. Отход!!

Проскочили деревню, сразу съехали в поле, рассредоточились. Взяли окраину на прицел. Вдали пылила подмога. Подтянулась большая колонна — почти весь третий сводный, отряд ВВ (Внутренних войск), Курганский СОБР. С головного БТРа прыгнул комбат. Коротко переговорили. Палыча и две «брони» оставили на въезде в село — организовать блокпост и дожидаться вертолета. Доктор хлопотал над водителем и бойцом сводной группы, комбат с

вэвэшниками двинули в село — проводить досмотр и зачистку. Через полчаса пришла «восьмерка» с сопровождением, забрала раненых.

На блокпосту проторчали почти до вечера. Сначала ждали второй вертолет с какой-то досмотровой группой из Ханкалы, потом Панов долго бродил с ними вокруг да около развалин, отвечал на дотошные вопросы: где стоял, куда стрелял...

Вокруг сновали и таращились на бесплатное представление осмелевшие селяне, была какая-то баба. От чуть дымящихся руин мусорный ветер носил запахи горелого пластика и шашлыка, голодный организм реагировал желудочными спазмами и выделением слюны.

Наконец все кончилось. Место боя оставили под охраной ФСБ и ибрагимовцев, построили колонну и двинулись в лагерь. Несколько последующих дней мотались на разбор завала. Разведчики стояли по периметру охранения, в обрушенном доме копались местные власти и ФСБ. Руководил всем какой-то полугражданский седой мужик. Полковник из Штаба горной группировки ходил за ним по пятам, преданно заглядывал через плечо. На все негромкие указания усиленно кивал.

Всю информацию держали в секрете. Сколько и кого настреляли, узнать не удалось.

* * *

— Товарищ капитан, вы закончили?

— Да.

— Что-то я не видел, чтоб вы что-то переписывали. Я же вам сказал: исправить.

— Исправлять нечего, товарищ подполковник. Эта объяснительная — четырнадцатая. Содержание предыдущих я помню наизусть.

Следователь скорчил гримасу, небрежно сгреб объяснительную на пяти листах, зашуршал бумагой:

— Огонь приказали открыть вы?

— Да.

— А вот подполковник Селезнев утверждает, что руководство адресным мероприятием было возложено на него. И он предупреждал вас о том, что огонь необходимо открывать только в крайнем случае и только по его команде.

— Крайний случай был. Перед открытием *от-ветного* огня я с ним свои действия согласовал.

— А он утверждает, что не согласовывали... — Подполковник походил по кабинету, взял стоявшую на сейфе детскую пластмассовую лейку в виде слоника, заботливо полил какой-то лопух в горшке. — Устроили Сталинград в центре села... Вы хоть понимаете, сколько мирных граждан могло пострадать? И пострадало! Мне не следует вам всего говорить, но в доме, который вы расстреляли, были заложники, ни в чем не повинные люди. Что молчите?

Палыч вздохнул. Мурыжили его уже месяц. Сначала какие-то дознаватели прилетали в отряд, дергали его и солдат из экипажей. Ничего толком не объясняли, только заставляли писать и рассказывать по сто раз — что да как. Прояснить ситуацию не мог даже комбат. Теперь же капитан уже пятые сутки парился на Ханкале. Стало ясно, что под него по какой-то причине «копают». Официально не арестовывали, но удостоверение личности и автомат забрали, с пересыльного пункта не выпускали. Между допросами капитан тоскливо слонялся по колючему периметру. От нечего делать стрельнул сигарету, закурил, закашлялся. Подозвал какого-то солдата, отдал отраву ему. Боец козырнул и тут же затынулся, воровато оглядываясь. Болела душа за группу — пятый день одни... То, что службу не завалят, Палыч не сомневался, но тем не менее... Тем не менее.

— Что молчите?! — Подполковник наливал себе кипяток из чайника.

— Я все указал в рапорте. Был ранен водитель «ЗиЛа», убиты четверо.

— Значит, надо было блокировать дом и доложить командованию, а не принимать самостоятельных решений.

— Люди Селезнева находились по периметру охранения. По ним велся плотный огонь, отойти без прикрытия они не могли. У боевиков наверняка были и ночные прицелы. Один БТР был обстрелян из гранатомета, стояли бы мы молча — нас бы сожгли. Отошли бы — бросили бы охранение и тела, упустили бы бандитов.

— Все равно... Нет команды — не стреляй. Вы военный, капитан, или как? — Следователь явно пытался острить, все переводил разговор в стадию задушевной беседы. — А заложники? А? Повесят их теперь на тебя...

— Ты так думаешь? — Палыч упер в подполковника тяжелый взгляд. Тот на мгновение опешил, на гладко выбритом лице мелькнула тень возмущения — которое он, впрочем, тут же дипломатично подавил. Заулыбался...

— Извиняюсь... На *вас* повесят... Чаю хотите?

— Нет. А вы уверены, что это заложники, а не хозяева дома, которые устроили у себя перевалочную базу и склад? Не связные? Они что, в наручниках были?

— Следствие, как говорится, разберется... И вопросы тут все-таки задаю я, капитан... *Товарищ* капитан. Командование всеми силами пытается стабилизировать обстановку в регионе, а вы такие провокации устраиваете. В соседнем дворе от вашей стрельбы погибла корова. За дом уже сын хозяина — питерский бизнесмен, кстати, — иск готовит. Джип племянника, который во дворе стоял, расстрелян и восстановлению не подлежит. Вы за все это платить будете?

Палыч вспомнил, как бродил по развалинам с досмотровой группой. «Паджеро» стоял, чуть припорошенный кирпичной пылью, но ни царапин, ни тем более пулевых пробоин капитан на нем категорически не припоминал.

— Давайте-ка еще раз по порядку. С момента выезда из лагеря.

— Я все указал в рапорте.

— Да наср... мне на ваш рапорт! — Дознаватель все же вышел из себя. Тут же попытался сгладить, подошел к небольшому холодильнику, распахнул дверцу. Тихо звякнули водочные бутылки. — Хотите курицу? Только не отказывайтесь! Домашняя, мне посылка на днях пришла. После ваших сухпайков — милое дело!

Достал пакет, зашуршал. Потом вдруг брезгливо приняхался, отвел от себя сверток:

— Черт, кажется, испортилась... Свет часто отключают. Дневальный!!

Вбежал воин, забрал протухшую курицу и на вытянутых руках понес к выходу.

«Зря, — подумал капитан, глядя вслед солдату. — Может сожрать».

Под низким потолком щитового домика невидимой тяжестью повис уже близкий и родной, щемящий и ласковый запах разлагающейся плоти...

Палыч молчал.

Панов сидел в столовой, в своем выцветшем камуфляже, рядом суеился белоснежный солдат-официант. Капитан безучастно проглотил наваристый борщ, съел картошку, окорочок. Залпом выпил непривычно сладкий компот. Собираясь встать, автоматически пошарил возле лавки в поисках оружия и на секунду оторопел, когда рука повисла в пустоте. Вспомнил, что автомат отобран, беззвучно выматерился.

Вошел посыльный, спросил разрешения обратиться. Вызывали к дежурному по лагерю. Палыч не спеша побрел к дежурке. Из деревянной бани доносилось приглушенное нестройное пение, капитан заглянул из любопытства. В предбаннике сидели голые мужики, пили водку и горланили. Один из них, румяный крепыш, сделал театральный жест рукой, смахнув со стола пластиковый стаканчик:

— Заходи, капитан! Плесните капитану!! За ВДВ!!

На вешалке висели новенькие камуфляжи с майорскими и подполковничьими погонами.

— Не могу. В наряд заступаю, — отрезал Панов первое, что пришло на ум, развернулся и вышел.

По пути потрепались с местным зампотехом.

— Что это у вас за певцы в бане, Саня?

— Так это же ваши, из разведотдела штаба Войск. Прислали их на три недели... Бухают и моются все время, задолбали. Слава богу, улетают завтра...

В дежурку Панов вошел без стука, не ожидая ничего хорошего. Рядом с дежурным сидел знакомый подполковник-следователь. Поздоровались.

— Получите свое оружие, документы. Колонна центроподвоза отходит с «пятачка» через... два часа. Можете быть свободны... пока.

* * *

Отряд заменился. Промелькнуло напряженно-радостное время ожидания сменщиков, встреча и братская попойка, пересыльные лагеря Ханкалы и Моздока, многочисленные погрузки, разгрузки, домотры на таможенных пунктах. Панова опять вызывали, то в штаб Войск, то в гарнизонный военный суд. Опять допрашивали, толком ничего не объясняя... Потом как-то резко все затихло.

Как-то вечером Палыч с доктором решили посидеть, чуть выпить да потрещать. Сгоняли в магазин, пошли к Панову в общагу. В обшарпанном полутемном коридоре пахло плесенью. Переступили через валяющийся посреди дороги детский велосипед, запнулись о чей-то тапок. Капитан толкнул дверь своей девятиметровой комнаты. Крутанул лампочку — «включил» свет. Распугал тараканов.

— Что там у тебя, Палыч, по тому делу?

— Не знаю, Док... — Капитан пожал плечами. — Отстали пока, но, чую, добром не кончится. Сделают из меня второго Ульмана или Буданова, придется в тайгу уходить или во Французский Легион... если успею.

— Да ну... — Доктор безуспешно пытался выловить из банки огурец. — А ты юристу полковому, Владу, позвони. Он в суд мотается, у него там однокашники, может, и пробьет чего.

— И то дело...

Позвонили юристу. Влад о ситуации слышал только краем уха. Сказал, что на Панова запрашивали характеристики и выписки из личного дела, обещал что-нибудь разузнать.

Через неделю встретились, сели в кафешке. Влад помолчал, собираясь с мыслями.

— Ситуация такая, Палыч. Сколько народу было в доме, я не выяснил. Среди них были гражданские — хозяин дома и какие-то родственники. Сын хозяина в это время был в Питере. Когда на него вышли, он сказал, что дорогого папу кто-то взял в заложники и требует выкуп. Сообщать в органы сынуля якобы побоялся, начал собирать деньги, а на следующий день приехали федералы, — то есть вы, — и спалили родовое гнездо вместе с папашей. Уж не знаю, кто там ему поверил, только всех начали иметь по жесткой схеме... Причем на самом высоком уровне.

Все, естественно, стали отмазываться, тебя решено было сделать крайним. Потом поработало следствие, разобрались. Попался, видимо, кто-то чест-

ный и принципиальный. Доказали связь хозяина дома с боевиками. Нашли у него в карманах американские деньги той же серии, что и в карманах убитых духов, схрон в подвале... Да и так ясно было. Сынулю этого питерского тоже за задницу взяли. Один из прибитых вами боевичков оказался чуть ли не приближенным Бен Ладену — какой-то крутой парень, еще с первой войны в разработке. Ситуация сразу перевернулась, теперь все строчат на себя награжденные. Командующий группировкой себя вроде на «Героя» подал, но не прокатило — фээсбешники перетянули. Про тебя вроде забыли, дело закрыто.

Помолчали.

— На бойцов награжденные подписали, не знаешь? Я солдат из экипажей на «Отвагу» представлял.

— Не знаю, Палыч. Это надо в штабе Войск узнавать.

— Ладно... Спасибо, Влад.

Шло время. Отдельный батальон, в котором служил Панов, был расформирован в угоду грянувшим военным реформам. Большинство офицеров части решили увольняться. Распался слаженный боевой коллектив, служить стало не с кем. Скрепя сердце подал рапорт на увольнение и Палыч, получивший к тому времени майорские погоны. Прошел медкомиссию, вышел «за штат» и пополнил бесконечные ряды очередников на получение жилья. Устроился на какую-то работу...

Первое время было ничего, но скоро продажная гражданская жизнь встала поперек горла. Иногда собирались с сослуживцами, грустили и пили, борясь с ностальгией.

Двадцать третьего февраля решили встретиться всем коллективом в бывшей солдатской столовой, переданной теперь каким-то связистам. Накануне позвонил комбат.

— Здорово, Палыч. С Праздником.

— С наступающим, товарищ полковник.

— В Москве завтра будешь?

— Да.

— Собираемся в десять. А тебе к девяти в штабе Войск надо быть. В разведотделе.

— По какому такому случаю?

— Не знаю. Я тебе позже скину номер кабинета и фамилию, к кому.

В 8.45 23 февраля майор вошел в стеклянные двери штаба. Назвал дежурному фамилию. Тот проверил документы, позвонил.

Палыч поднялся на четвертый этаж, нашел означенную дверь... Не успел Панов постучаться, как дверь распахнулась, из кабинета, хохоча, выпорхнула рыжая размалеванная мадам в погонах старшего прапорщика. Эротично повизгивая и стреляя глазками, деваха отбивалась от крепыша-подполковника

в расстегнутом кителе, все норовившего уцепиться за пышный зад.

— Вам кого? — Офицер штаба неприязненно уставился на майора в камуфляже. Его румяная физиономия показалась Палычу знакомой. На кителе, поверх рядов разноцветных планок, у подполковника криво висел новенький орден Мужества, под мокрой колодкой расплывалось пятно. «Обмывают, — пораскинув мозгами, догадался Штирлиц».

— Я к полковнику Сизову. Майор Панов. Он знает.

— Сейчас...

Подполковник скрылся в кабинете. Товарищ старший прапорщик, повиливая бедрами, с независимым видом продефилировала следом.

Через пару минут Палыча пригласили войти. В кабинете за накрытым столом сидели человек десять старших офицеров, несколько женщин. Поднялся усатый полковник.

— Майор Панов?

— Так точно.

Полковник молча прошел в угол к сейфу, извлек картонную коробочку и удостоверение, раскрыл его.

— Указом Президента России от ...ноября ...года Вы награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Давно лежит. Чего ваш кадровик не забрал?

— Нет кадровика, товарищ полковник. Часть расформирована.

— Ты из «восемьсот двенадцатого»?

— Так точно.

— Тогда ясно...

Полковник пересек кабинет, вручил награду, пожал руку.

— Поздравляю!

— Служу Отечеству. Разрешите идти?

— Идите.

Палыч развернулся.

— Стойте! Товарищ полковник! Положено обмыть! Плесните майору!!

Румяный орденосец и любитель Ханкалинских бань, недавно проявлявший половой гигантизм, театрально махнул рукавом, смахнув со стола фужер с шампанским.

Полковник поиграл бровями, взглянул на Палыча вопросительно.

— Не могу, товарищ полковник. Пока своему командиру не представился — не положено. Разрешите идти?

— Идите. Еще раз поздравляю.

— Благодарю.

Панов вышел на улицу, вдохнул морозный воздух. Рядом со входом сизыми клубами дымила чугунная урна — видимо, кто-то неудачно бросил окурок. Палыч стукнул кулаком в стекло, кивнул дежур-

ному. Тот заметался, как рыба в аквариуме. Мусорный дым пах шашлыком и горелым пластиком.

К стеклянным дверям тем временем прибывали все новые защитники Отечества. Сияли награды, полковничьи и генеральские погоны. Стоянка перед штабом была сплошь заставлена дорогими авто. Крайним справа сверкал лаком, хромом и инеем иссиня-черный «Мицубиси-Паджеро» с причудливой ярко-оранжевой молнией вдоль борта.

Экипажи БТРов за ту командировку так и не наградили.

Маргарита Лейдина

ЛЮДА

Городок-деревня лежал блюдцем в ногах у моря. И жил обычно, простыми событиями и незатейливыми делами. Беленые стены домов, разноцветная, от времени, черепица и зеленые садики-близнецы. Люди — ничем не примечательные, но приятные, дружелюбные. Это если смотреть взглядом гостя. А гости появлялись ровно на четыре месяца в году, в сезон, и городок оживал.

Привлекательного в городке было разве что море и розы. Много роз, растущих на клумбах и в диком виде кустарниками. Еще горы, крупные скалы, разбросанные по холмам осколочно, как старые зубы. Имели они каждая свой цвет, и так же назывались по цвету. Люди, живущие здесь годами, привыкли не замечать этой особой красоты. Да и сами со временем приобретали тот спокойно похожий тип внешности, которым награждает место постоянно здесь живущих.

Была еще одна достопримечательность городка, не вызывавшая у жителей радости, так как служила не в пользу городу, а во вред. Достопримечательность звали Людой, и была она дурочкой. Спрятать ее от взглядов отдыхающих не было никакой возможности, потому что была она простодушна и улыбчива, но очень упряма.

Она ходила в светлом твидовом пальто, зимой носила старую шерстяную косынку, а летом — берет, из-под которого выглядывали всегда гладко причесанные седые волосы. Даже в самую жару она не снимала пальто, от этого сильно потела, и когда она останавливалась на пляже возле отдыхающих, люди морщились, отходили в сторону. Ее гнали свои же, торгующие горячими пирожками и блинчиками, уводили с пляжа, ругали. Она приходила и вечером,

когда отдыхающие гуляли по набережной, подходила к молодым мужчинам, улыбалась странно, ищущей улыбкой, но денег не брала.

Лица ее не коснулось безумие, потому что, говорили, Люда от рождения не была дурочкой. А была нормальная, тихая девочка. Возраста ее уже никто не помнил, кому охота была считать чужие, казавшиеся бесполезными годы. Может, тридцать, а может, и все пятьдесят. У нее случилось несчастье, погиб маленький сын, прижитый ею в девичестве. Отцом был кто-то не здешний, не свой. Свой бы объявился, в молодости Люда была красавицей, старательной и спокойной. Сыну не было и пяти, когда на него наехал грузовик, так редко случающийся в этом городке. Люда везла сына в больницу, потом оказалось, уже мертвого. Из больницы мальчика забирала бабушка, Люда вернулась не сразу. А когда вернулась, оказалось, целый кусок жизни был милостиво стерт из ее памяти. Была она едва ли старше теперь своего умершего сына.

Каждый город имеет своего сумасшедшего, свою визитку. Люда была визиткой этого городка. Конечно, жители предпочли бы иметь своим сумасшедшим какого-нибудь чудака-ученого или, на худой конец, старую даму, родственницу знаменитого поэта, когда-то имевшего счастье провести в городке первые пять лет своей жизни. Но в наличии имелась только Люда, которую и прятали, насколько было возможно, от посторонних глаз.

Соседкой Люды были старуха-татарка Зиля Мавлютовна, которую все называли Зоей Михайловной, ее сноха Фая и внучка Катя. Женщины приехали в Крым с первой волной иммиграции на историческую родину. Зоя Михайловна получила Люду в наследство, как дополнение к старому дому, на большей половине которого она и жила со снохой и внучкой. Она удивительно быстро поладила с Людой, как-то устроила быт, и женщины жили, не очень мешая друг другу.

Ничем особенным Люда не занималась, не удалось ее приучить собирать бутылки, потому что приносила она домой не целые, а больше побитые, и не понимала, чего от нее хотят. Еду она почти не готовила, все сжигала, ела что придется, летом было проще, в столовой пансионата оставались овощи или хлеб.

Иногда, осенью, когда Люде было особенно худо и сильно болела голова, так, что она кричала по ночам, из центра приезжала бригада и увозила ее в больницу.

Ходила она обычно к столовой, к почте и на пляж, но иногда уходила в горы далеко, лесники ее не гоняли.

Поодаль от городка, на склоне холма, за ближней горой было кладбище. Люда редко забредала сюда, она панически боялась свежих могил. Еще помнила

тот день, когда маму Марину, зачем-то убранныю в узкий деревянный ящик, закопали у нее на глазах в одну из этих ям. Но сегодня ей пришлось идти через кладбище, потому что ее напугали чужие люди, расположившиеся на поляне в палатках, когда она шла из леса, где собирала грибы. Она собирала все грибы, которые ей попадались в лесу, затем варила их в огромной кастрюле, в которой мама раньше кипятила белье, и потом, надышавшись мягким, знакомым запахом, вываливала месиво на мусорную кучу. Поэтому что мама при жизни запрещала ей собирать грибы.

Люда не любила собак и кошек. Кошки царапались, а собаки лаяли на нее, иногда очень громко, хотя всех их она помнила еще щенками. Поэтому, когда она услышала писк и подумала, что это котенок, прибавила шаг. Но вскоре она остановилась. Рядом не было домов, откуда здесь котята? Котят, новорожденных, в коробках приносили к санаторной столовой, чтобы их разобрали или покормили отдыхающие. Люда осторожно приблизилась к яме. Звук издавала, как ей казалось, сама земля. Но когда она потянула за край белой ткани, в такую заворачивали маму, прежде чем уложить в ящик, то на ладони ей скользнул сверток. В свертке лежал крошечный ребенок. Люда аккуратно положила его в свою сумку и, оглядываясь, понесла домой.

Никому не показав свою находку, Люда, видимо, что-то вспомнив из той, прошлой жизни, стала ухаживать за найденным. Крошечный, недоношенный ребенок, несмотря на странности своей приемной матери, выжил.

Мало кто заметил, что последнее время Люда стала появляться с непокрытой головой. Что с нее взять, может, потеряла. Но Люда не теряла берета, в нем теперь спал младенец. Еще она грела воду в кастрюльке и, деловито опуская локоток, ждала, когда вода станет теплой и можно будет купать мальчика. Она совала ему сухую грудь, качала, сильно прижимая так, что кнопочный носик его утопал до глаз. Он ворочался, ей было щекотно. Плач его был тонким, почти неслышным, как осторожное кошачье мяуканье. Мало кто слышал его, и мало кто обращал внимание. Она кормила его размоченным в молоке хлебом, завернутым в стиранный платок, сладкой водичкой. Каждое утро стояла с банкой возле магазина, ждала. Ей наливали молока, каплю, чуть-чуть, она радостно улыбалась беззубым ртом, благодарила.

— Бабушка, у Люды котенок.

Катя прыгала по плиткам двора, сначала на каждую, потом через плитку и, наконец, разогнавшись, пролетала аж целых две.

— Откуда взяла? — Зоя Михайловна кормила кур, спешила, с обедом не успевала.

— А у нее пищит он, так тихонечко-тихонечко.

— Да кажется тебе, помоги лучше.

Опять не слышала, тугая на ухо стала. Зачем купалась вчера вечером, как молоденькая? Зоя Михайловна сердилась на себя и на внучку.

— Не-а, бабушка, петух клюется, бешеный он.

— Ай, бешеный, глупая какая девчонка. — И Зоя Михайловна ушла в дом.

Катя несколько раз пыталась зайти к Люде, но та не пускала ее, толкала, неузнаваемо сердитая. Катя решила, что, если котенок пищит, значит, жив, и успокоилась.

Сезон отдыхающих заканчивался, заканчивались и впечатления прошедшего лета. Не обошлось без происшествий. Говорили об этом целую неделю. Говорили, встречаясь, возле почты, на рынке и возле магазинчика, где все и случилось. А случилось неприятное. Люда подралась с продавцом «молочного» и сразу же из тихой, пусть и упрямой, дурочки превратилась в «буйную». Отдыхающих в городке было мало, рынок возле магазинчика почти прекратил свое существование. Размыло дождями дорогу, и из центра неделю не завозили разливного молока. Люда уныло простаивала возле магазина с пустой банкой. Однажды решилась. Осторожно зашла в магазин и встала около прилавка, глядя на светлую витрину.

— Что ей надо? — недоумевали продавцы, но поделились, отдали пару просроченных коробочек с йогуртом. Люда сунула проворно добычу в карман, но не ушла.

— Молоко! — Она протягивала руку к пакетам, стоящим на витрине.

— Иди, Люд, иди, не мешай работать, ишь, понравилось, что я ей из своей зарплаты, что ли, платить буду?

— Молоко! — Люда упрямо тянулась к пакету.

— Как будто умрет она без него!

Люду толкали к выходу. Возле дверей она развернулась и неожиданно сильно ударила по лицу продавца. Сильно рассклала бровь, чудом уцелел глаз.

Из города вызвали бригаду и Люду увезли.

В больнице Люда тоже проявила непослушание.

— Пустите меня домой, ну пустите же, — Люда хватала врача за рукав, — у меня там ребенок, у меня ребенок.

— Хорошо, хорошо Людочка, только успокойся, вот полечим немножко и отпустим, домой поедешь.

— Нет, не надо лечить, мне хорошо, и голова не болит, а ребеночек, один он, ну пустите, — она уже не шла за врачом, а ползла, споткнувшись, упала на колени, так и не встала, — не надо лечить, не надо!

Упирающуюся Люду подняли санитары и увели в палату.

— У нее действительно был ребенок, мальчик, умер уже давно, — отвечая на вопросительный взгляд коллеги, сказала врач.

Не успокоилась Люда и в палате. Легко вывернувшись из рук санитаров, она крепко, до белизны косточек, вцепилась в рифленые прутья у окна и ровно как в танце билась о них головой. На лбу у нее двумя полосами проступали красные раны.

После второго укола она заснула.

— Что, и раньше с нею было такое?

— Да нет, никогда, уже несколько лет не госпитализировали.

— Понятно. Возможно, поэтому.

Катя скользнула за занавеску.

— Бабушка, — в глазах страх, — там кукла у Люды, только мертвая.

— О-алла, что значит мертвая? — Зоя Михайловна шагнула в комнатку.

На постели лежал, завернутый до пояса в старый шерстяной, подаренный ею самой когда-то Люде платок, крошечный ребенок. Наклонилась — не дышит, маленький рот остановился в движении, словно в зевке. Видно — выпростался, ворочался, кричал.

— Иди отсюда. — Она сильно толкнула Катю к двери.

Вечером они похоронили маленького на окраине кладбища, около оградки. Благо места он занял совсем ничего, поместился в картонной коробке из-под невестковых туфель. Зоя Михайловна связала проволокой две дощечки крестом, Катя повесила веночек из мальв. Обратно шли молча, возле самого дома бабушка сказала:

— Никому не говори, Катя.

— Ага, бабушка, не скажу. Он болел?

— Не знаю, деточка.

— А больно ему было?

— Может, и больно.

— Бабушка, отчего же он жил и умер?

— Кто знает, деточка, кто знает?

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Резкий громкий хлопок прервал ее сон, глубокий и тяжелый. Но встала не сразу — тело, на тонкой ничтожной границе бодрствования, еще не обрело душу. Разлепив глаза, поняла — она дома, снова одна, и все голоса, что слышала во сне, сменились хмурым ворчанием кота, нечаянно ею придавленным. С трудом села, опершись на высокую подушку. Рыжий, с легким серым подпалом, старый кот пристроился на одеяле и глядел прямо в глаза хозяйке. «Кыш,

пш-шел» — турнула его с постели. «Никогда ведь не баловал. Сенки не закрыты»? Наглость кота испугала. «А хлопнуло-то? Прямо выстрел». Заныло сердце, прихватило так, что не только встать, но и повернуться было тяжело. «Детка, сынок. Не с ним ли чего?»

Почувствовав острый кисловатый запах, поняла, что лопнула банка с огурцами. «Соли мало положила». Но почему-то ни простое объяснение страшно-го звука, ни умиротворенный вид кота, который улегся у двери и тарашил глаза в темноте, не успокоили ее. И, преодолевая боль в груди, она спустилась с постели, шаря голыми ногами по полу, натываясь на растоптанные тапки. Заговорила вслух:

— Не могу. Не могу. Ждать. Ждать. Не могу.

В тот день, когда сын, неузнаваемый, стриженный до нежной светлой кожи головы, в старой чиненой куртке и с рюкзаком на худеньких плечах, развернувшись в проеме вагонного тамбура, растерянно кивал ей, она надолго подружилась с тревогой. А когда в ответ на все ее запросы, после четырехмесячного молчания, пришла бумага, сообщающая, что сын пропал без вести, к чувству тревоги прибавилось чувство потери.

Ехать решила поездом. Сначала в Ярославль, где собиралась группа по розыску без вести пропавших, затем до места через Москву. Собраться было нетрудно. Последние полгода не начинала новых дел, не заводила скотины.

Когда, с трудом согнувшись, на коленях, доставала из низкого, неудобного подполья деньги, завернутые в старую рубашку Лешки, не удержалась, заплакала. Копила давно сыну на свадьбу. Разворачивая линялую тряпку, такую знакомую, казалось, хранившую все запахи родного человечка, поймала себя на мысли, что больше всего на свете боится, что деньги пригодятся. Не для праздника. И хотя никогда не верила в Бога, привыкнув надеяться в этой жизни только на себя, перекрестилась неловко, не зная как правильно, справа налево или наоборот.

— Те-е-тенька, десять копеечек на хле-е-б. Мы беженцы. Сестричку убило, папка потерялся.

Голос выхватил ее из вокзальной суеты, когда она, подчиняясь общему движению, бездумно брела среди пассажиров и вагонов.

«Беженцы. Оттуда? Это они. Здесь. Может, его же отец и стрелял». И, еще не осознав, что собирается сделать, развернулась резко и занесла руку для удара.

— Тетенька! — на нее смотрел растерянно смуглый мальчуган лет шести в широких, мятых брючках, из штанин которых выглядывали серые от пыли, голые ноги.

Она опустила руку. «Господи, чуть ребенка не убила. Да и цыганенок он, наверное».

— Разве плюшечку дать. — Она наклонилась к сумке.

— Лучше денежку! — осмелел мальчишка.

— Денежку? — Мария с облегчением вздохнула.

Давно не мытые, пыльные окна автобуса отделяли людей от внешнего мира, от природы, старающейся из всех сил успеть одеть деревья листвой, неудобной для воюющих и уже не заметной для живущих.

— Блокпост. Приготовьте документы.

Водитель пошарил в козырьке над лобовым стеклом и, взяв бумаги, спустился к военным. Люди вышли из автобуса.

Светловолосый, с сероватым лицом, двигаясь к ним осторожно, бочком, мальчик в военной форме (на вид ему было едва шестнадцать, но вблизи были видны густые усы и легкие морщинки возле глаз), перекидывая автомат с плеча на плечо, негромко произнес: «Подать солдатику ничего не найдется»? Лицо Марии вспыхнуло. Не поняв, что происходит, почувствовала стыд и жалость, словно не солдатик, а она сама просила у людей.

— Сигареты и хлеб есть у вас? Везете, наверное, своему? — Женщина, стоящая рядом, слегка толкнула Марию в плечо.

— Да, конечно. — Мария засуетилась, наклонилась низко над сумками, стараясь спрятать лицо, и, не удержавшись, заплакала, некрасиво кривя рот.

— Возьми, возьми, это тебе. И товарищам передай. — Она доставала из сумки банки, свертки и неловко совала парню в руки.

Та же женщина снова обратилась к ней.

— Оставьте, еще не один пост проедем. А ты, сынок, — повернулась она к солдату, — не обижайся, ей еще долго здесь гулять, — и горько усмехнулась.

— Почему долго? Найду и сразу обратно. — Мария внезапно рассердилась на женщину, словно от незнакомки зависела судьба ее и сына, и ей ничего не стоило вернуть ей спокойствие. Но женщина молчала, не вступая в диалог, а только хмурилась. Впервые Мария столкнулась с этим упорным молчанием, непробиваемым, словно ледяная глыба, появляющаяся каждую зиму над крышей ее крошечной баньки, построенной еще дедом, веселым пьющим балагуром, и исчезающая только к весне.

Труднее всего было свыкнуться с мыслью, что поиск сына может затянуться надолго. Она понимала, что не в силах сказать себе — через месяц, неделю, сегодня — я уезжаю. Но все чаще возвращалась к словам, услышанным от той женщины из автобуса. Боялась правды и предчувствовала ее.

От тяжелых мыслей отвлекали только звуки не редкого здесь боя. Привычно бежала к ближайшему

подвалу. Страх не было, но мысль о том, что ее сын, может быть, где-то рядом и нуждается в ней, заставляла ее делать то, что было единственно правильным. Прятаться. Всегда прятаться.

Вот и сейчас, выйдя из укрытия на свет, она удивилась, что так рано наступили сумерки. Но, подняв глаза, поняла, что солнце на месте, а темно от серой пыли, грузным облаком затянувшей все небо. Она побрела к дому, в котором остановилась. От разрушений ли, от растерянности, но она заблудилась и вышла к двухэтажному кирпичному зданию, покрытому розовой штукатуркой, стоящему среди сухих, выжженных кустарников. Она подошла поближе. «Белый ягодник» — вспомнила название тонких, коричневых, с остатками белых коробочек, веток. Такой же рос у них в райцентре возле здания больницы. Среди веток она увидела что-то светлое, похожее на куриную лапку, завернутую в цветную бумажку. Приглядевшись, отпрянула и, зажав рот, бросилась прочь. Среди серого высохшего кустарника висела детская ручонка в лоскутке фланельки, красные квадратики по желтому полю.

Надежда, которая, казалось, покинула ее навсегда, вдруг возродилась с новой силой. Ждала одного только слова, такого знакомого. Рыжая щетина покрывала щеки военного. Глаза его, совсем прозрачные, словно не видели стоящих перед ним людей. Держа листки перед собой, он напряженно вглядывался в написанное, молчал. Мария поняла, что он давно прочел все фамилии и других не будет.

— Еще смотрите, еще, — она схватила его за руку, — еще!

— Сожалею. Вашей фамилии нет, — он впервые взглянул на женщину, — на территории был бой. Несколько человек похоронено. Завтра придет бригада, будут раскапывать на перезахоронение. Все, что я могу вам сказать.

И, развернувшись, он пошел от нее прочь.

— Что же это такое, что же это? Уходит? Уходит!!!

— Мария Степановна, — хозяйка квартиры взяла ее под руку, — пойдемте, вы же слышали. Завтра. Это рядом с рыбзаводом. Завтра подойдете.

До начала эксгумации, так называлось это страшное и непонятное, что должно было произойти, оставалось несколько часов. И хотя было небезопасно, Мария бесцельно бродила по городу с раннего утра.

Вдруг заметила, что ступает только по асфальту. Не успела понять, почему так. Стрельба началась неожиданно. Солдаты забегали за укрытия, припадали на колено, дергали затворы. Она побежала к ближайшему уцелевшему зданию, но асфальт, разбитый бэтэрами, оборвался. Земля. Когда-то газон. Сейчас это может быть могилой. Его, другого,

любого из них. И она понимает, что нужно пройти этот участок пути, но ноги почему-то не слушаются. «Просто земля, это просто земля», — повторяет она снова и снова. Нужно сделать первый шаг, главный. За ним другой, третий и пойти. Иначе темнота и смерть. Токот автоматных очередей настигает. Ее могут убить! Надо двигаться. Хоть ползти, хоть что-нибудь делать, кричать! Она открывает сухой рот и мычит. Там, под землей, он, ее кровиночка. «Я не могу шагнуть ему на грудь». И она опускается на четвереньки и ползет по земле к зданию. «Так тебе не больно, сынок?»

Она стояла и смотрела, как раскапывают воронку. Зеленый бахил рабочего похоронной бригады постоянно сползал с края ямы вниз. Человек подтягивал ногу, переступал, и от этого его движения становились все более нервными и суетливыми. Но она смотрела на ногу этого человека, на его движения, словно это и было самое главное, что сейчас нужно было видеть, чтобы не взглянуть невзначай на то, что лежало внизу, на самом дне воронки, продолговатое, завернутое в черную пленку. То, что, казалось, не могло принадлежать жизни. Ни тогда, когда это двигалось, дышало, любило, ни сейчас, когда оно требовало только одного — покоя. Этот покой живым представлялся неправильным, и они упорно тревожили это, перенося с места на место, обряжая, изменяя и снова скрывая от глаз в землю.

Наверное, люди о чем-то говорили, губы их двигались, лица поворачивались друг к другу, но все это было отдалено и скрыто под толстым слоем шума, затопившего голову Марии. Если бы у нее были силы, она бы молилась о том, чтобы это был не он. А может, именно этого она и хотела, чтобы наконец найти определенность, страшную возможность полностью отдаться одному чувству — чувству горя.

Яма была раскопана, и двое в зеленых халатах прыгнули на дно. Через несколько минут они осторожно, с помощью других, подняли наверх тело. Ослабив веревку, возле шеи мертвого, рабочий отвернул часть пленки от лица.

— Смотри, мать. Твой?

Сил хватило только на то, чтобы подойти поближе. Взглянуть туда, где темнело лицо, слившееся с цветом полиэтилена, она не смогла.

— Ну, давай, мать, надо. — Лицо мужчины, державшего край пленки, было неподвижным, но видно было, что эта неподвижность сродни тому шуму, который заполнял ее голову, и она наклонилась над мертвым солдатом.

— Нет...

Черная маска с запекшимися сгустками крови не принадлежала ее сыну.

— Женщина, женщина! Русская!

Легкий светлый платок, слегка играя от ветра, скрывал часть лица говорящей. Она махала рукой Марии.

— Женщина. Сюда идите.

Незнакомка шурилась от солнца, отчего выражение ее лица было искажено напряженной полуулыбкой.

— Вы местная? — Мария не понимала, что нужно этой, в платке. Но, переходя на другую сторону улицы к ней, вдруг вспомнила свою первую поездку в горы. Давно, много лет назад, ей, золотой медальстке, после окончания техникума дали путевку в санаторий. Вспомнила повариху, полную тетю Нану, которая угощала их, девчонок, теплыми сырными пирожками и легким домашним вином. Каждый вечер. Потому что ужин начинался рано и они, молодые, растущие, до утра ходили голодные.

— Я слышала, вы солдата ищите? — ответила вопросом на вопрос женщина.

— Да, Алексея Уварова. Он здесь... воевал. — Мария запнулась на последнем слове. — Темненький такой, знаете, у него еще верхняя губа так рассечена немного, в детстве катался на камере, в овраг свалился.

— Да я не знаю этого. Откуда. Их очень много здесь было. Тогда одних взяли, в горы увели. Потом освободили кого-то, недавно совсем. За мостом госпиталь стоит — «врачи без границ». Туда их и увезли, после плена.

— Господи, господи, спасибо вам. — Мария закрыла ладонями лицо. — Как зовут вас, скажите?

— Маша по-вашему. — Незнакомка слегка намхурилась и повернулась, чтобы уйти.

— Бог вас отблагодарит. — Мария не знала, что еще сказать, как выразить свою благодарность незнакомке, так неожиданно подарившей ей надежду.

— Бог? — Женщина недобро улыбнулась. — Здесь нет Бога. Здесь только люди.

— Вы Васька? — Она не заметила, как назвала его странно, на кошачий манер, хотя сын никогда не называл его так в письмах, а только Васек или Валек.

«От слова валенок» — смеялся он с белых страничек. И смех его словно растворял ее страхи и тревоги, она забывала, что странички эти пишутся «там».

— Мария Степановна, — голос паренька дрогнул неровно, словно он пытался петь, — Мария Степановна, некого вам больше искать. Его нет.

— Ты это, не переживай, — она, словно спускаясь с горы, прерывисто дышала, — знаю, уже знаю, сынок.

И вдруг рассердилась на него. Не смел он так называться! Словно присвоил слово «сынок», он стал

повинен в своей жизни, повинен в том, что сохранился.

— А ты где был тогда, а, Вася?

— Рядом я был. А он упал. Мы отступили тогда. А когда вернулись, то собрали кого. — Голос говорящего становился все глуше, исчезая в растянувшихся паузах, лицо приобретало отстраненное, почти скучное выражение.

— Алексей... У него привязано было устройство прямо к... Ну... к ноге. Да. К нему подошел Рамиль из нашей же части. И... все. Обоих. Нельзя было без саперов.

— Ой! — Она присела на пустой железный ящик, стоящий рядом с кроватью. Он покачнулся и съехал из-под ее тела. Мария тяжело упала на землю.

Солдат, перегнувшись с кровати, пытался удерживать ее за руку, но она, цепляясь за крепкую ткань рубашки, скользила вдоль локтя, снова разжимала пальцы и падала.

Наконец она смогла подняться.

— И ничего? — Еще не понимая смысла своего вопроса, но уже зная ответ, она посмотрела в сторону от говорящего, равнодушно, словно разговаривала с незнакомым человеком о чем-то неважном, незначительном.

— Не осталось.

До конца дня сердце, казалось, не билось, и только к вечеру, бухнув до боли о ребра, дало ей ощущение присутствия в мире. Плакать не получалось. Она сидела на низкой кровати и собирала мелкие крошки хлеба в платочек. Завязывала концы и снова развязывала. «Соберем, похороним», — приговаривала она всякий раз, но вдруг замолчала, не имея больше сил противиться безжалостной мысли: «А хоронить-то нечего».

Темнота, господствующая за окном, проникла в комнату, захватила Марию в плен.

Странная, почти детская легкость в теле удивила женщину. Пальцы рук двигались, шевелились, пытались что-то сделать с краем байкового тоненького одеяла. «Почему одеяло? Разве не лето? У меня такого не было. И... я жива?» Краткий миг недоумения сменился, словно чередой кадров, ясными картинками недавнего прошлого. Бледное, с крупными каплями пота лицо сына, склонившееся над ней: «Вам плохо? Мария Степановна?». Почему он называет ее по имени? Нет, это не сын, это тот, живой. У него светлые волосы и другое имя. Вася. Его зовут Вася. «Мне плохо. Сердца не чувствую». Потом вечер. Свеча, крошки хлеба и снова сон.

«Несите ее сюда».

«Не надо. Мне ничего не надо. Я хочу к сыну».

«Лежите, лежите».

Мужской голос. Почему-то сердитый. Нет, он не сердит, он просто сосредоточен. Это врач.

«Зачем меня лечить. Ребяткам, им нужнее. А я умру. Правда же. Мне так лучше. Правда».

Сколько же она лежит? Сколько прошло времени? И почему она все еще жива?

Тонкая занавеска качнулась, словно от ветра. Легко ступая, вошел молодой мужчина, в белом халате.

— А, мать. Ну, ожила наша покойница. Ну вот, через неделю машина будет. Доедете до вокзала. А пока — лежать!

Мария бродила по госпиталю, пытаясь помочь, чем могла. Но могла она немного. Поправить одеяло, подать водички, тем, кто ее просил об этом.

— Этому недолго осталось. До утра, наверное, не дотянет.

Усталая женщина, еще не старая, но осунувшаяся после бесконечных бессонных ночей, утратившая все признаки молодости и привлекательности, осталась возле проема палатки, задернула занавеску.

Мария подождала, когда женщина удалилась, и вошла к раненому. Это был чужой солдат, совсем еще молодой мальчик, с темным, измученным безнадежной болью лицом, лицом врага. Он лежал перед ней беззащитный и нестрашный. Совсем еще недавно — может вчера — он был полон сил жизни, которые он с таким упорством растрачивал на то, чтобы отнимать ее у других. Враг, который был полностью в ее власти. Враг, который распластался перед ней и словно ждал ее мести. Она тихонько села возле него на кровать и потянула из-под его головы подушку. Он открыл глаза, взглянул на нее напряженно, словно узнавая и предчувствуя то, что сейчас должно случиться, в ужасе задвигал головой, зашевелился всем телом, напрягся. Желая найти защиту от женщины, несущей ему смерть, позвал ту, другую, которая подарила ему жизнь, ту, которая приходит на помощь всегда, когда ее зовет дитя. И, не зная чужого языка, не принимая ничего, что не касалось ее чувств, Мария вдруг поняла, услышала сердцем его призыв. Он звал мать.

— Люли, люли, люли-и, прилетели гули-и, стали гули ворковать, стали гули горевать...

Медсестра остановилась возле занавески и прислушалась. Тихая нежная песня, такая странная здесь, среди смертей и страданий, испугала ее. Она заглянула за занавеску. Мария сидела на кровати раненого и, держа его голову в своих руках, тихо поглаживая его черные, жесткие от пота волосы, приговаривала:

— Спи, мой мальчик, спи, деточка.

Лицо раненого было неподвижным, на губах застыла спокойная, умиротворенная улыбка.

— Пойдемте, — медсестра тронула плечо Марии, — он умер.

ЛЕТАРГИЯ

Две тысячи ... года весна повернула назад. Солнце, всходившее над еле видимым горизонтом, уже не светило, только робко пробивалось бледным мертвенным кругом, слабея день ото дня. Дни и ночи стали темнее от плотно затянувших небо туч. Тонкие нежные рябины, растущие по краю леса, с едва пробудившейся россыпью почек, стали твердеть от заледеневших своих соков и хрустко ломались от случайного прикосновения. Вход в лес стал легок. Наст твердел к утренним походам. Савватий, когда-то в позабытом своем служении бывший местным батюшкой, теперь сам себя называющий вслух Саввою, дабы не забыть звука человеческого голоса, ходил в лес ежедневно, искал ранние посылки появления первых грибов. Это всегда были тускловато поблескивающие ягнячьим руном головок рыжие сморчки.

К первому прикосновению воскресшей зимы Савва отнесся с легкомыслием. «Марток, одевай семь порток». Играть ему еще и играть редкими морозами до апрельских ручьев. Но однажды утром, толкнув тяжелую, разбухшую от домашней влаги дверь, он увидел, как тучи спустились с неба. Во дворе, на старом поле, до горизонта, насколько хватило взгляда, лежал почерневший снег. Савва замер при виде мрачного покоя лишенного красок мира.

Холода становилось много, земля, уставшая от зимы, торопившаяся пропитаться скрытою под ноздреватыми сугробами влагою, стала твердеть, замыкаться, как чужая. Савва давно уже не сажал огорода, жил первобытно — сбором и рыбалкой. Оставшись единственным сторожем забытой всеми деревеньки и небольшой, построенной еще при несохранившемся монастыре церкви, он уже много лет привык принимать все происходящее с ним как должное. Давно-давно, он и сам не мог бы вспомнить когда, как и не помнил, сколько ему лет, дали ему приход. Отдаленный, в самой преддверии уходящей в недосягаемое горной цепи. Здесь не прокладывали трасс, поезда шли за пять деревень отсюда. Вместо проводов, лежащих на колоссах — опорах, несущих свет и тепло, в деревне работала старенькая дизель-машина, тархтящая на краю мелкой, с галечными берегами речушки. Верующих было немного, но посещали церковь почти все жители. Постепенно деревню постигала общая участь. Уезжающие молодые и уходящие старики оставляли сироты — дома. Уехал и молодой дьяк, с женой и двумя детьми. Вот уже несколько лет Савва служил в пустой церкви «воскресную» и «праздники», даты которых не столько помнил, сколько чувствовал.

Весна все не начиналась. Вместо долгожданного тепла наступили невиданные морозы. Рваные поры-

ва ветра выстужали огороженный забором двор, пробирались в дом. Топить приходилось беспрерывно. Ледяные березы с потрескавшейся, сухой от мороза корой не давались топору, Савва грыз их стволы как строганину, слой за слоем, один тоньше другого. Береза горела быстро, но давала лучший жар.

К вечеру он ложился на печь спиной, животу легче было сохранить тепло, отдавать его понемногу тягелеющему воздуху комнаты. Глушил тревогу, благодарил Господа за прожитой день и все чаще читал «молитву Оптинских старцев», хотя раньше не любил ее, считал мирской. Когда печь остывала до могильной каменности, он сползал вниз, стараясь не ступить на чугунный лист, положенный на пол возле печи для шальных выпадающих искр. Заготовленных дров не хватало, и Савве приходилось идти снова к ближайшим деревьям. С каждым разом его походы удлинялись. Тропки протаптывал насвежо, по старому, покрытому хрупкой коростой, пепельному снегу.

Маятник его походов раскачивался, принося все скудеющие плоды. Видел, что скоро последний топор уже не сможет грызть окаменелое мертвое дерево. Точить его днем Савва не мог, свел к минутам домашние хлопоты, чтобы не тратить время ходок. Знал, если пропустит, наступит нерассчитанный, необратимый час холода.

Простуда выела почки. От жидкой еды, от короткого рваного сна, начали его мучить видения. Голова была не его, того, что давно уже сдался и мерил время не сутками, а короткими промежутками, от похода к походу. Каждый раз, толкая примерзшую дверь всем телом, он чувствовал, как бок обжигает боль. От почек он и стал мочиться против воли. Сначала чуть-чуть. Брюки сверху смерзались в стеклянный ком, и он разрывал старые простыни и прокладывал их между ног. Потом сушил эти тряпочки, раскладывая по растрескавшимся кирпичам печи, и они дымились едким запахом аммиака.

Не дождавшись тепла, погибла пчелка. Ульи с примерзшими пчелами он ломал стамеской, сберегая топор. Мертвые пчелы липли к доскам, к легку, к решеткам рамок. Он не счищал их, и они потрескивали на огне крошечными факелками.

Спать ложился рано. Сны приходили, казалось, мгновенно. Он улетал в ту, прошлую жизнь, которая теперь сама казалась сном. Он рано женился и рано овдовел. Плохо помнил свою жену, робкую подругу юности, успевшую кое-как обжить старый, белого кирпича домик при церкви для служебных людей. Новый большой деревянный дом сгорел еще при старом батюшке, и потом больше не строились. Жена подарила ему дочку, белоголовую смешливую Ксению, и вскоре, едва кончив кормить грудью, слегла от тяжелого легочного воспаления. На дворе и в храме, стоящем на ровном насыпном холме, окруженном со

всех сторон озерцами-завоями, не просыхающими до середины лета, даже в солнечные дни господствовала прохлада. Воздух для больной был нездоров, и она, прокашляв месяц, однажды просто не встала с постели. Савва овдовел, но приход сохранили.

Долгая молодая осина, выросшая на самом краю дороги, петляя крепкими корнями по коричневому, мраморному от прослоек ледяной слюды склону, поддалась Савве не сразу. Пила скользила по мокрому стволу, осинка тряслась и стонала как живая. Ветки ее, варенные в талом снегу, который он с трудом находил свободным от серого налета в ямках небольших овражков, дарили ему горький вкус пустого чая. Зверя было много, но не живого, бегущего от выстрелов его ружья (охотился он и раньше редко, постился, да и не был мясоедом), а мертвого, лишенного, как и он, своей привычной еды. По цепочке умирали мирные и хищники. И наступил день, черный, как и все остальные, бессолнечный, холодный, когда он, преодолевая подступы тошноты, содрал шкурку с найденного крупного линялого зайца. Мертвый оскал зверя был похож на улыбку.

Что-то он пропустил. Солнце заполняло день жаром, томило тяжелые стебли желтоголовых пижм, растущих у спуска к реке, и они падали душной волной на тропу. Серая земля от сухости шелушилась жесткой пылью, забивалась между пальцев ног. Савва шел к реке, напрасно желая спастись от зноя. Давно уже река, как могла, пересохшим своим ртом ловила редкую тень прибрежных ив и не давала прохлады. На камне, наполовину утонувшем в реке, сидела Ксения. Он увидел русалку, с витой легкой косой, лежащей на тонкой длинной выемке спины, нежную кожу бедер и маленькие, погруженные в воду ступни. Нечаянно ему открылась ее необузданная, языческая красота, и он задохнулся от страха. Вмиг понял он весь ужас ответственности своего отцовства.

Вечером он спросил Ксению, ласково, как мог:

— Веруешь?

Она смотрела на отца, не понимая.

— Мама молится за тебя на небесах.

Когда настала пора смениться так и не наступившей весне летом, Савва понял, что это навсегда. Сбившаяся с оси земля больше никогда не вернется на прежнее место. Много лет не покидал он своего обжитого гнезда, отвыкнув от хлеба, научившись обходиться малым, не желая ничего мирского, суетного, грозящего потерями. Впервые ему стало страшно без людей.

Грешил теплом. Влажным жаром молодых еловых лап, раскиданных по полу бани, квасным духом выпарившегося тумана, бьющего из-за чугунной за-

слонки печной трубы, куда он плескал из дубового ковша — «на поддать».

Когда уже не смог терпеть прилипающие от слабого, нездорового пота к спине и груди нестиранные рубашки, решил прибавить «теплого» времени суток. Сил его и старенького с зазубринами на лезвии от непосильной работы топора больше не хватало на дровья. Он взял сани и побрел в сторону кладбища, где много было еще деревянных крестов. Когда-то, в этих развалюшках-саях, по той же дороге он вез свой бесценный и безнадежный груз. Могилу копал тогда три дня, сам. Острый угол наточенной лопаты едва пробивал мерзлую землю. Ксения, взяв от отца сильную, упругую волю и вкрадчивый тяжелый взгляд карих глаз, взяла и от матери — слабые легкие. Она лежала в дальней комнате, в междуоконном пространстве, укутанная одеялами, и сердито молилась, кашляя и вздрагивая при каждом слове. Он поил ее жиром, растопленным в пареных отрубях, соленой водой, прикладывая к ногам горячие бутылки и ждал.

На отпевании был весь его приход. Рыжий мальчик — подросток, оставленный родителями, уехавшими на заработки, под попечительство отца Савватия, и две старушки, вечно спорящие, злоязыкие сестры-погодки, вдовы, живущие одним хозяйством. Одна из них, цепко, маленькими морщинистыми руками, держала кастрюльку с кутьей. Сливались в единый радужный свет огни в подсвечниках, ставленных накрест у гроба, когда Савва поднимал глаза, прерывая чтение Псалтиря — «помяни Господи Боже наш...».

День он проводил на ногах, на воздухе, стараясь заходить в чуть спасенную от холода брошенными в печь редкими полешками избу как можно реже. Так легче было переносить резкую границу между неизменной уличной стужей и домашним теплом. Труднее всего было утром, когда нужно было вставать с лежанки. Старая печь, выложенная беглецом-дыком, была крепка, жара ее хватало на весь просторный дом, но Савва топил только кухонную печурку с короткой лежанкой, на которой когда-то смешливая поповна сушила бесконечные травяные венки. Он и сейчас, продлив лежанку ящиками от старого комода так, что мог вытянуться во весь рост, чувствовал ночью, далекой памятью, умершие запахи трав: сладкий липовый, мягкий, чуть прелый, аромат душицы и холодок мяты. Утро он скорее чувствовал, чем видел. День и ночь не спорили уже своими светилами, солнце и луна сравнились в серой копоти небес, редко-редко сыпал снег, то жидко-стеклянный, то черный, пухлый. Казалось, где-то длился, жил, вечно не потухающий пожар.

Болезнь нагнала его в один из походов за дровами. Сел в снег и не поднялся. Ползти до дома было

Генеральный**директор***Елена Шевцова***Главный бухгалтер***Людмила Дьячкова***Художественный****редактор***Татьяна Погудина***Цветоделение****и компьютерная****верстка***Александр Муравенко***Заведующая****распространением***Ирина Бродянская*

Отпечатано

в АО «Красная Звезда»

123007, Россия, Москва,

Хорошёвское шоссе, 38

тел. +7(499) 762-63-02,

факс +7(495) 941-40-66

e-mail: kz@redstar.ru,

www.redstarprint.ru

Тираж 2 000 экз.

Уч.-изд. л. 10,0.

Заказ № 272-2017

Адрес редакции:*Россия,**107078, Москва,**Новая Басманная, д. 19***Телефоны***редакции:**8(499) 261-84-61**отдела распространения:**8(499) 261-95-87***Факс:***8(499) 261-49-29***E-mail:***www.roman-gazeta-1927.ru***Сайт:***www.roman-gazeta-1927.ru*

Рукописи не рецензируются

и не возвращаются.

Отклоненные рукописи
сохраняются в течение года.

всего ничего, на счастье, ушел он недалеко. Спасли брезентовые брюки, полученные им в наследство от щедрых даров вдовых сестер-погодок. Мужья их были крепкими, пьющими стариками, побивающими своих женок от случая к случаю. Оба были некрасивы, из единого многодетного корня, с соседней деревни, но долго еще после их дружной, в один месяц, случившейся смерти, сестры делили свое несостоявшееся счастье. Каждая считала, что больше повезло сестре.

К утру распухшие ноги не влезли в ссохшиеся от еженощного прожаривания на плите печурки серые чесанки. Он срезал голенища до щиколоток, но и это не помогло.

Теперь его походы заканчивались во дворе церкви. Деревянные части ворот, двери, полы — все, что смог он расколотить топором. Когда варил залетевшую случайно в лишенный двери притвор мертвую, на второй день, сороку, понял — и так можно жить.

Небо, потеряв солнце, лишило Савву времени. Он чувствовал, что прошел день Святой Троицы, но, когда это случилось, неделю или месяц назад, не мог понять.

Осознание неизбежности конца приходило вместе с усталостью, и он уже не разделял эти чувства. Тело требовало еды, покоя и тепла. Он пытался читать Библию, старую, с чеканными накладками на желтом кожаном переплете, но буквы двоились, сливаясь в пляшущих жучков, и он понял, что пришло время глаз, и они тоже сдались. Текст он знал наизусть, но приходило на ум только одно: Откровения Иоанна Богослова. И еще Дионисий.

Однажды, решившись, он начал готовиться. Сердце билось ровно, как перед сном. Забил оставшимися дровами печурку до отказа, выпил горячего кипятка с припасенной мятой, немного, чтобы можно было долго не подниматься, и лег, укрывшись всеми одеялами, какие нашел в доме. Молился об освобождении и о том, чтобы не проснуться, когда зима завоюет последний крошечный оплот его — уютную когда-то, вынянченную женой и дочерью, маленькую кухню с чудом сохранившимися, теперь уже серыми, занавесями на окнах. Ждал, почти с нетерпением, того состояния, когда шагнет через хрупкую границу между мирами и соединится с любимыми и любящими, вечно живущими, и возвестит, что на покинутой им земле наступил конец света. Нестрашный, одинаковый для всех. Холодный.

СОДЕРЖАНИЕ**АНДРЕЙ БЕЛОЗЁРОВ**

Молодость. Любовь. Война 1

Третья сила 6

Иванов сабантуй 16

Цикл «Приднестровские легенды»

Солист 21

Харон 25

Ангел 29

Стажировка 33

ДМИТРИЙ ЕФРЕМОВ

Белый ангел 38

Чужая река 40

Когда приходит осень 47

Берега 52

АЛЕКСАНДР УНТИЛА

Запахи 63

МАРГАРИТА ЛЕЙДИНА

Люда 72

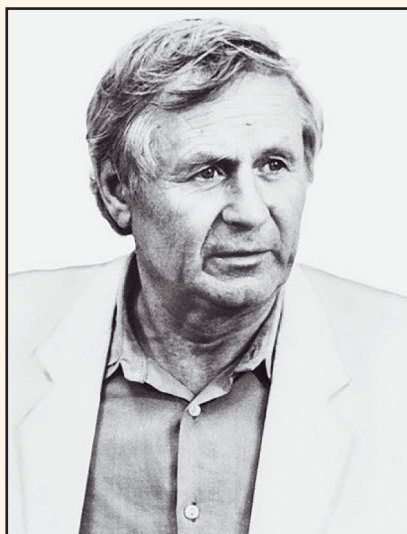
Колыбельная 74

Летаргия 78



Последний поклон Учителю

Памяти Михаила Петровича Лобанова (1925–2016)



В августе прошлого года мы опубликовали последнюю книгу выдающегося критика и литературоведа, участника Великой Отечественной войны, патриота России М. П. Лобанова «Дух по-прежнему тревожен...» о жизни и судьбе великого русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова и его семьи. В конце ноября в Москве был открыт первый в столице музей Аксакова. 10 декабря не стало Михаила Петровича ЛОБАНОВА — Педагога с большой буквы.

Проститься со своим Учителем пришли десятки выпускников Литературного института имени А. М. Горького, где Лобанов преподавал более полувека. До глубокой старости Михаил Петрович вел семинар прозы, непосредственно участвуя в формировании профессионального мастерства будущих литераторов, их нравственно-духовного, не менее значимого для русского писателя, стержня.

11-я аудитория на втором этаже Дома Герцена на протяжении многих десятилетий была своеобразным лицом и духовным центром для лобановских семинаристов.

Сегодня многочисленные слушатели его семинара активно уча-

ствуют в литературном процессе, публикуются в ведущих российских изданиях. Словосочетание «ученик Лобанова» стало определенным знаком качества, подтверждением профессиональной и гражданской зрелости литератора.

Несколько лет назад издательство Литературного института выпустило посвященный Лобанову сборник «В шесть часов вечера каждый вторник».

Первый раздел сборника познакомил читателя с творчеством лобановских выпускников. Второй — включил в себя статьи самого М. П. Лобанова, обращенные к молодым авторам, а также его письма. Третий — материалы обсуждений студенческих работ, рецензии, воспоминания семинаристов о своем наставнике. В сборнике представлена и подборка высказываний известных писателей, критиков о творчестве Михаила Петровича.

Многолетняя работа Мастера во благо русской литературы была достойно отмечена его коллегами по Литинституту. До самых последних дней Лобанов живо интересовался литературными новостями, читал новые произведения известных и молодых писателей, делился с ними своим богатейшим опытом. Его бесконечно волновала судьба русской литературы, отношение государства к культуре, ситуация в Союзе писателей России.

Редколлегия и коллектив «Роман-газеты» выражают искреннее соболезнование близким и друзьям Михаила Петровича Лобанова.



